

СИБИРИАДА

КИМ  
БАЛКОВ

Байкал-  
море  
СВЯЩЕННОЕ

Сибиряда

Ким Балков

**Байкал – море священное**

«ВЕЧЕ»

2020

**Балков К. Н.**

Байкал – море священное / К. Н. Балков — «ВЕЧЕ»,  
2020 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8393-6

Ким Николаевич Балков – автор около тридцати книг, лауреат Большой литературной премии России и Государственной премии Республики Бурятия. В основе романа «Байкал – море священное» лежит строительство Кругобайкальской железной дороги в период русско-японской войны. Эти события одинаково трагично отозвались на судьбах священного озера и всех людей России.

ISBN 978-5-4484-8393-6

© Балков К. Н., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	19
Глава 4	27
Глава 5	33
Глава 6	41
Глава 7	46
Глава 8	53
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# Ким Николаевич Балков

## Байкал – море священное

### Роман

#### Глава 1

Лежит Байкал в глубокой зеленой чаше и медленно, будто нехотя, ворочается; волны поблескивают в утреннем солнце, пошаливают, но словно бы понарошке, то вдруг кинутся на белый каменистый берег, и могучая дремлющая сила почувствуется в их набеге, когда сдвинутся с места, зашевелиятся, зелено посверкивая, тяжелые замшелые валуны; а случается, волны вдруг вспенятся, забурлят, гомонливые, выметнутся из темного загадочного нутра и не скоро еще ослабнут. И там, где они черкнут воздух сверкающим лезвием, расколется синева, рассыплется, сдвинутая, и тысячи синих сверкающих сколок, сталкиваясь и дробясь, упадут, застигнутые ветром, на прибрежные кедры.

Чайки кружат над морем, большие, иссиня-белые, как пена, которая еще долго останется на берегу после того, как схлынет волна, расколотая. А подле них – птахи малые, и вьются вокруг, и свиристят, таежные птахи у моря не кормятся, а все ж не улетают: видать, им тоже по душе кружение над глубокой зеленой чашей.

Велик Байкал и загадочен, неподсуден людскому мнению, сам по себе, щедр ли на ласку, суров ли... И попробуй скажи, отец ли батюшка, грозен ли старец, равнодушный к людскому горю?.. Бывает, придет на его берега молодуха, простоволосая, в черном бабьем шитье, и, ломая руки, крикнет:

– Верни моим деткам кормильца!..

Но никто не услышит, только волны, холодные и на Прокопьев день. Бывает и по-другому: на зорьке ранней зачнут рыбаки тянуть невод, тяжело идет, знать, с уловом нынче... Верно что: подняли невод и – успевай черпать. Раззудись плечо, размахнись!.. Повеселел рыбак:

– Спасибо, кормилец, батюшка!..

И в седую старину, слышать, случалось... Жило на берегу Байкала племя, маленькое и гордое, морем кормилось, охотой в тайге, правило этим племенем уважение к земле предков, любовь великая, от старого к малому, из века в век одно и шло:

– Не поступишь землю свою. Что б ни содеялось, не поступишь!..

В гаданиях на бараньей лопатке им не раз выпадало: близится час страшный, уходить надо, искать приют в чужих краях. А не то случится беда, сгинет племя и ничего-то не останется от него на этой земле, памяти даже... Но сказали старейшины, смяв робость перед злыми духами гор:

– Пускай так. И все ж не уйдем мы, нет...

А беда поспешала тропами торными и нехоженными, через горы и реки, через долины и – пришла: недолго бились люди племени с войнами из дальних кочевий, многие полегли, а тем, кто остался, слабым и немощным, женщинам и детям, – старейшины велели идти за ними. И подошли они к морю, было оно большое и гневное, саженные волны встали на пути людей племени, словно бы хотели остановить, но это не смутило их. Взявшись за руки, они сделали шаг, другой, и скоро море скрыло их от глаз тех, кто незваным пришел на чужую землю. Долго стояли пришельцы-воители, и смятение было в лицах, но еще и гордость за людей чужого племени, которые предпочли смерть неволе.

Сказывают старики: там, на берегу Байкала, поклялись те воители не подымать больше меч, так и сделано было, и уж не покидают родных кочевий и живут мирно, от матери к сыну, от деда к внуку передается легенда о гордом племени, сменяются поколения, а легенда живет. Но, может, и не легенда вовсе, а что-то другое?.. Вдруг да и возьмет улигершин в ослабевшие руки хур и запоет дивную песню о давних временах, и будут в той песне слова:

Траве на земле нужно солнце, птице – небо.  
А что нужно человеку? И то и другое...  
Многое нужно человеку, чтобы жить.  
Но пуще всего нужна ему свобода.  
Она дает крылья, и тогда он делается как птица.  
Она обогревает его своими лучами,  
И от этого на сердце у него становится светло и радостно...

Расскажет улигершин о гордом племени, и, услышав, люди словно бы выпьют до дна чашу радости. Но не только об этом расскажет улигершин в своей песне, и другие слова будут в ней, и от них больно сожмется сердце. Расскажет улигершин о детях вождя того племени, они не пошли к Байкалу, не сумели одолеть страх, свернули в сторону и спрятались за высокими деревьями, а когда стемнело, сели в легкую, из сухой березы, лодку и уплыли на дальний остров. Они не многое умели делать в жизни, привыкли к тому, что все за них делали другие; и все же не умерли от голоду, научились ловить рыбу, отыскивать пригодные для еды лесные травы и коренья. Их было двое, мальчик и девочка, они оказались смыслеными – на высоком крутояре, у моря, построили себе жилище из березовых веток, наловчились промыслять зверя. Все бы ладно, да однажды было знамение: юноша в ту студеную пору шел меж байкальских торосов, выслеживая тюленя. И догнал, и уж натянул тетиву лука, чтоб пустить стрелу, и – не успел... Тюлень поднял морду, поглядел на юношу, сказал:

– Не убивай меня. Я поведаю тебе твою тайну.

Юноша удивился: он не знал языка зверей, а понял, о чем сказал тюлень. Помедлил и опустил лук.

– Бойся своих детей, – сказал тюлень. – Рожденные от черного брака, они не станут признавать родства, и тот, кто будет последним в роду, подымет руку на отца.

В глубокой печали юноша пришел к жилищу из березовых веток, сестра выслушала его и тоже запечалилась, а потом они заговорили о том, что лучше бы им уйти с острова, но так велик был страх в душе, что они не посмели этого сделать, а с годами и думать забыли о родной земле.

Настало время любви, и они поняли, что им не обойтись друг без друга, соорудили из палых осинового листьев брачное ложе посреди своего жилища и предались запретной страсти... А потом у них появился ребенок, и они вспомнили о словах старого тюленя и темной ночью, под осень, когда лютует северный ветер, бросили ребенка в пенное море. Та же участь постигла всех, кто был рожден в жилище на высоком крутояре. Они думали, что так будет лучше и ничто не сможет помешать преступной любви. Их не мучила совесть, они не знали этого чувства, потеряв власть над собою в тот момент, когда не сумели одолеть страх и не ушли вместе со всеми... Они не знали многого, чем живут люди, и даже не задумывались об этом; уединенная жизнь на острове казалась им высшим блаженством, когда больше и желать-то нечего, только одно вызывало досаду, что нет-нет да и надо подыматься с брачного ложа, чтобы добыть и приготовить еду или же отнести к синему урезу байкальской волны живой, истошно вопящий комочек, плод их любви, к которому не испытывали ничего, кроме желания поскорее избавиться от него.

Но время шло, и брачное ложе сплошь проросло травой, случалось, они вырывали эту траву, если она делалась жесткою и колючею, но проходил день-другой, и она появлялась снова,

они не знали, что и эта трава от их семени, и не боялись ее. Но однажды мужчина укололся ею, и тотчас тело у него почернело, и в муках он умер. Оставшись одна, женщина была в отчаянии и хотела бы тоже умереть, но смерть не брала ее, с утра до ночи женщина, неприкаянная, ходила по острову. Она и теперь еще бродит где-то, неприкаянная. Случалось ли вам слышать, как посреди ночи вдруг закричит чайка, и боль в том крике и горечь, так это не чайка вовсе, а та женщина.

Велик Байкал и загадочен, вдруг да и выблеснет живым посверком малая рыбка голомянка, возьмешь в руки и подивиться-то не успеешь на нее, прозрачную, а уж нет ее – растаяла... Так и мысль твоя на этом берегу, неохватная вроде бы, дерзкая, людям на удивление, а как глянешь вдаль да увидишь ярые волны, которые, с каждой минутой делаясь все круче и суровее, надвигаются на тебя, разом придет робость, и уж не скажешь, о чем была твоя мысль, разбитая на мелкие осколки, потеряется вдруг, и не соберешь ее, не ухватишь...

Байкал и в тихую погоду не больно-то ласков, вековечную тайною веет от него, грустная эта тайна, сердцем почувствуешь: грустная, а понять, постигнуть и не пытайся даже, а коль изменишь этому правилу, которому издревле следуют люди, живущие у моря, пеняй на себя... В душе, минет время, сдвинется что-то, и неприметное вроде бы чужому глазу, а уж себя-то не обманешь, и грустно станет, и одиноко, и как-то неприятно промеж людей, и захочется чего-то другого, и ты долго будешь думать, чего же именно, но так и не найдешь ответа, и уж не видать покоя до последнего дня твоего. Знать, вошла в тебя тайна Байкала.

Приходят люди на белопенные берега и подолгу дивуются на чудную, открывшуюся взору красоту, но мало кто скажет: ах, как хорошо! Слово бы что-то удержит эти слова, сомнет, и самая мысль о них, еще не родившись, сгинет.

Есть в этой тайне нечто смущающее душу, и хотел бы проникнуть в нее, а не осмелишься, вот и бродишь в мыслях вокруг нее, и всякие дивные дива вспоминаются, и многие из них кажутся такими отдаленными во времени, что дух захватывает. Странно все-таки... И знаешь, что это не так и не все из того дивного, что случилось на Байкале, случилось в незапамятные времена. Но в том-то и дело, что сознание противится этому, принимает сибирское море не как реальность, а как символ чего-то неизбежного, вечного, окруженного таинственностью, которую мы окружаем все, что находится за пределами нашего разума.

Старик-рыбак, смуглолицый, пропахший ветрами, с длинными жилистыми руками, сидит на песчаном берегу, смотрит, как ходит по кругу, наматывая на скрипучий ворот просмоленные концы невода и тяжело поводя запотевшими боками, какая-нибудь захудалая лошаденка, а потом и вспомнит столь поразившее его и подзовет малышню, а она в пору, когда тянут невод, шныряет здесь же, на берегу, и начнет сказывать голосом хрипловатым и намеренно негромким:

– Стало быть, так... От деда слышал, а тот еще и от деда своего, а уж тот от кого – не скажу... Ну, стало быть, в самую старину содеялось, волки, стая треклятая, сели на хвост табуну и – погнались... Да не куда-нибудь, а прямо к Байкалу, море в ту пору было нешумливое, волна едва накатывала... Табун примчал к берегу и остановился. Куда ж дальше-то?.. Вожак, жеребец Карько, ловкий, силища – во!.. – вылетел из табуна и давай биться с волками. Но тех много, тоже – силища, да поболее, чем у Карько. Поранили жеребца. Чует Карько: пропадет сам и табун погубит. Вот и кинулся в Байкал-море, а табун за ним... Что же волки?.. А ничего, порыскали по берегу, посверкивая голодными глазами, да и подались обратно, в тайгу...

Замолкает рыбак, и лицо у него пуше того темным делается, опечаленное, и малышня ждет, притаясь, и даже самый непутевый из них присмирееет.

– Волки, стало быть, в тайгу подались, – спустя немного продолжает старик. – А табун все плывет да плывет за вожаком. День плывет, ночь... Благо Байкал не шелохнется даже. Слово бы примолк в ожидании чего-то. А может, просто пожалел ошалевший от страха табун и не захотел сделать ему худа?.. – Рыбак оглядывает малышню, и в темных, все еще зорких глазах

его удивление. – Да уж, попробуй угадай, когда море ласково, а когда лютее зверя... Но да бог ему судья! А я вот что... я про табун... Еще через день выдохаться стали кони, вдруг да и раздастся жуткое ржание, а потом ненадолго все стихнет, и там, где минуту назад билась старая обессилевшая кобыла, еще долго ходят по воде круги. Когда ж показался берег, тот, другой, который отсюда и не увидишь, держались на воде лишь Карько и еще три кобылы, вышли на берег, худые, дрожащие, сделали шаг-другой и упали на песок и уж не подымутся. Выплыли они как раз напротив рыбацкой деревни, люди увидели, побежали к берегу... Натаскали травы, чтоб покормить коней, те поели, а все не встанут на ноги. И лишь тогда заметили люди, что копыта у коней разъело водою.

– И чего же? И чего?..

Это малышня, а только рыбак уже подымается с прибрежного песка и идет горбясь. Но скоро останавливается и говорит недовольно:

– А ничего... Принесли мужики бердану и, жалеючи коней, пристрелили их. Вот и все...

Однако ж это еще не все, услышанное будет долго волновать ребят, и ночами они станут спать плохо, но и повзрослев, не забудут, а расскажут кому еще... Так и станет жить этот сказ про табун, и редко в какой деревне, сидя за чашкою чая иль дожидаясь, когда поспеет жаркое, не услышишь про ошалевших от страха коней.

Велик Байкал и загадочен, крепко хранит свою тайну и никому не поведаст про нее, даже лучшему из людей, а все ж умеет ценить силу духа, отвагу и милостив к тем, кто обладает всем этим, как милостив и к меньшим братьям рода человеческого. Сказывают, зверь-подранок, едва передвигая ноги, случается, и придет темной ночью к синему урезу и будет долго стоять, забредя по самое горло в студеною воду. А потом еще придет и еще... И в конце концов заживут раны на его теле и духом окрепнет.

Так ли, нет ли?.. Разве скажешь? И быль, и небыль столь тесно переплелись на байкальских берегах, что подчас и самое удивительное и невероятное принимается людьми за чистой-шей воды правду. И теперь еще сказывают, будто-де везли в свое время в скрипучей крестьянской телеге, на ворохе гнилой соломы, по Сибирскому тракту неистового протопопа, и был он худ и бледен, и глаза на истомленном лице горели. А подле него, в телеге, люди служивые, стрелецкие, от родного очага оторванные на долгие месяцы и потому злые, в суровом стеснении держали гонимого, кляли на чем свет стоит, кормили да поили худо. А неистовый словно бы и не замечал мучителей, глядел окрест горящими глазами, и восторг светился в них, и радость. Но пуще того забилося у него сердце, когда взору открылся Байкал, и спрыгнул тогда с телеги и поднял кверху руки, закованные в железа, и крикнул страстным и сильным, столь привычным для него в прежние годы голосом:

– Господи, чудо-то какое!.. Или впрямь ты сотворил это чудо иль кто еще другой, недоступный нашему слабому разумению, но такой же, как и ты, великий и дерзкий сотворил его?!

Служивые люди стрелецкие дрогнули сердцем: столь крепка была сила духа в этом слабом, испытывавшем на себе пытку огнем и железом теле, – и страх запятнал их лица, но еще и смущение, и то смущение они унесли к порогу отчего дома. А протопоп меж тем, все так же держа над головою руки, пошел к Байкалу и припал к волне сухими губами. Вот тогда и содеялось дивное, о чем теперь еще говорят кто с удивлением, а кто с растерянностью: звеня, упали железа с измученных рук неистового, и там, куда упали, забурлила вода, запенилась, а скоро сребротелые рыбки, выметнувшись, рассыпались... Не менее служивых смущен был и сам неистовый, только и сказал, подымаясь с колен:

– Знать, велика твоя сила, море сибирское!..

А потом, когда протопоп шел от моря к тому месту, где стояла повозка и где дожидались служивые, позади него прорастали какие-то деревца, и дивились служивые и не могли понять: что это такое?.. А то были березки, необычные, которые не растут ни в одном другом краю света. Кудрявые, белые с просинью, издали цветом своим сливаются с морем да с небом.

Сказывают люди, березками Байкал одарил неистового за муки и веру горячую в свою правоту. Так ли, нет ли?.. – кто скажет, однако ж тропа та, что сажена на сто пролегла от Байкала в сторону Великого Сибирского тракта, и по нынешний день зовется Протопоповою, а имя тропе дали позже, уже в царствование государыни императрицы Екатерины II. Шли гонимые ею люди старой веры, ненавистники всего никонианского, латинского, турецкого, что пыталось повалить старую веру и противу чего с такой яростью на Вселенском соборе выступал неистовый, сказавши:

– Рим давно пал, и ляхи с ним же погибли, до конца остались врагами христианам; да и у вас, византийцы, православие пестро, от насилия турецкого Махмета немощны вы стали и впредь приезжайте к нам учиться: у нас, божией благодатью, самодержество. До Никонотступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие. Чисто и непорочно, церковь немятежна.

Не забыты эти слова, не размыты, и люди, гонимые государыней императрицей, помнили их, а увидев тропу меж чудных березок, почуяли сердцем, что тропа сия протопопова. И уж осевши на чужих, которые, однако ж, вскорости сделались своими, от души и от боли стали приходить к тому месту на Байкале, где в свое время побывал протопоп, и подолгу сиживали на мшистых валунах, укрепляясь в вере.

Отдыхал на тех валунах, приходя в себя от жестоких ударов судьбы, и смуглолицый флотоводец Петра Великого, поднаторевший в морских сражениях, но так и не сумевший сыскать себе места при дворе. С удивлением и восторгом прислушивался флотоводец к грозному шуму байкальских волн, и славное прошлое вставало перед глазами, и он снова штурмовал неприятельские крепости на Балтийском море и с бесшабашной удалью, которая присуща лишь русскому человеку, шел на абордаж... Отчаявшийся, он вдруг снова почувствовал в себе силу и, уже приехавши на место, определенное ему для жительства близ желтой реки Селенги, еще долго был мучим прожектами, многие из которых и по сию пору вызывают уважение.

Велик Байкал и загадочен, и у каждого народа, соприкоснувшегося с ним, отношение к нему свое, особенное. Ровно и спокойно отношение к нему русских людей, но случается и так, что вдруг да и перевесят чувства и отступит разум, смутясь, и скажет тогда сибиряк: «Ах ты, порождение дьявола, доколе будешь маять? Чтоб ты сгинул!..» Но случается такое не часто, а если все ж случается, то, успокоившись, сибиряк еще долго станет маять у себя в затылке и досадовать на несдержанность языка. В любую пору уважительно отношение к Байкалу жителей просторных, из края в край, степных раздолий – бурят. С малых лет привыкнув поклоняться земным тайнам, они и к сибирскому морю испытывают немалое почтение, но почтение это не робкое, а какое-то домовитое, хозяйское, как если бы перед ними был и не Байкал вовсе, а умудренный годами старец. Молитвенно и по-детски простодушно отношение к сибирскому морю эвенкийских племен, не часто появляются они на белых песчаных берегах, из века в век обретаясь среди таежных сопок и горных речушек, безбоязно ставя чумы подле зверьих троп и медвежьих берлог, там, где повыше, куда, бывает, что и заглянет солнце, пробившись сквозь густые кроны таежных великанов. Отважные в схватках со зверем, они делаются слабыми и безвольными, очутившись на берегах Байкала, и страх разом вспыхивает в их маленьких зорких глазах, и они осторожно и как-то неуверенно ступают на землю и тихо бормочут, глядя в синюю неоглядь: «О, бачка, бачка!..» И коль отпадет надобность и дальше находиться близ сибирского моря, норовят побыстрее уйти. То же самое эсты и ливы, волею жестокой судьбы заброшенные в эти чужие для них края. Они до самого последнего дня своего так и не привыкнут к суровому нраву Байкала, и в их угасающей памяти будет жить другое море, доброе и ласковое. Не забудут славное море, омывающее берега их отчизны, и польские повстанцы, испытывавшие на себе тяжелую руку русского полководца. И все то суровое и грозное, что выпадет на их долю, невольно вызовет смятение в душах и острую неприязнь к богом забытому краю, а значит, и к древнему сибирскому морю, которое будет неустанно шуметь подле их поселений,

напоминая о несчастье. И еще долго не остынет эта неприязнь, и даже дети повстанцев, а потом и внуки, уже вроде бы принявшие чужие обычаи, нет-нет да и скажут с досадою:

– А, matka боска, отчего это море такое: хмурится, хмурится, будто все, что ни делается, не по нутру ему?..

Байкал и впрямь, если не подо льдом он, едва ли не каждодневно морщит волны, неустанно гуляют над его поверхностью ветры, северные и южные, восточные и западные, сменяют друг друга с упрямой настойчивостью и не дают зеленоватой байкальской воде застояться. И о том знают коренные сибиряки и не досадают, а подчас и говорят с уважением:

– Работает батюшка...

Верно что, работает... И не всякий раз углядишь эту его работу и подивуешься на разумность природы. Вдруг да и разъярится, и загудит, и земля подле самого моря ходуном заходит, тогда даже стойкие наспех крепят мотоботы цепями и стараются уйти побыстрее. Не остыло еще в памяти недавнее, пожалуй, и через этот век, через двадцатый, перешагнет... Тогда зашевелилась земля у Байкала, волны вспенились, покатали одна на другую, сломали берег, вся степь Саганская на сотню верст ушла под воду, а вместе с нею и русские села и бурятские улусы, жители которых в страшном смятении бежали в горы, и там еще долго было слышно, как яростно шумят волны, разрывая на куски враз ослабевшую землю. Годы спустя, с опаскою подходя к месту, где случился Провал и где все еще неуспокоенно плещется вода, говорили люди, будто-де в ту ночь оттого и разгневался Байкал-батюшка, что жители Подлесья малопомалу начали забывать об уважительном отношении к нему и уж не только в крепкой досаде, а и просто так, развлечения для, могли сказать с усмешкою:

– Эк-ка, дурной, и чего надо, чего гудет?..

Может, так, а может, и нет, однако верно, что и нынче не всегда поостерегутся – а жаль! – и скажут худое слово о славном сибирском море, подле которого, на западной его окраине, у зеленого мыса, где буйно и весело полощутся на байкальских ветрах видные с любой стороны, рясно зеленые кроны лиственных деревьев, едва ль не в одночасье вырос рабочий поселок и началось невиданное доселе предприятие – строительство Кругобайкальской железной дороги.

## Глава 2

В жаркий июльский полдень тысяча девятисотого года двое шли по дощатому тротуару рабочего поселка, тесно прижимаясь друг к другу и с опаской глядя на серые и неприветливые дома, на распахнутые настежь и тоже серые и неприветливые ворота, на самом верху которых красовались березовые чудо-кони, распластавшиеся в немислимо длинном полете. Было что-то жуткое в этой мертвенной неизменности лошадиного галопа, что-то отталкивающее...

Тусклый сумрак зависал над улочкою. Изредка сквозь него, словно бы это не вечерний сумрак, а худо выделанное холщовое полотно, просвечивала бледная, тягучая синева неба. Но скоро сумрак загустел, и сейчас же в разных концах улочки, и даже там, где начинались низкие дощатые рабочие бараки, зажглись плоские фонари-блюдца. Двое замедлили шаг, переглянулись, а потом медленно пошли туда, где переспелым яблоком желтела маковка деревянной церкви.

Тот, что повыше ростом, с длинным лицом, заканчивающимся нервно подрагивающим и словно бы слегка сдвинутым подбородком, обросшим темным кучерявым волосом, отчего черты этого лица кажутся неправильными и, несмотря на свою привлекательность, затаенно жестокими, сказал:

– Перво-наперво надо найти, где заночевать.

– Да где ж найти-то? Небось ни разу тут не бывали. Ой, пропаду я с тобой и детишков сиротами оставлю.

– Не каркай, рыба твоя душа!

Тот, второй, тщедушный человечек с крупной, лобастой, точно не ему вовсе, а кому-то другому, большому и сильному, принадлежащей головою, виновато вздохнул:

– Куда мне до тебя! Ты вон какой... Одно слово – Христя Киш.

– На худой конец, в церкви схоронимся, – словно бы не услышав, сказал Христя. – Мало ли там прилюдного люда?

– Во как... – разочарованно протянул его товарищ. – А когда подначивал бежать с прииску, толковал, что у тебя тут в каждом дворе есть потаенное место, чтоб приглядеться, выждать...

– Послушай, Лохов, как бы я того... не обозлился. Зашибу. Надоел!.. – грубовато сказал Киш. И все ж ему было совестно перед Лоховым, но это словно бы шло не от него самого, а откуда-то со стороны и не вызывало ни сожаления, ни стремления защитить свой прежний обман.

О том, что случилось, Христе не хотелось думать, теперь надо думать о другом. Иначе пропадут ни за грош, и ничего не останется от нежного чувства, которое неизбежно сопровождает человека, когда он свободен в своих действиях, когда никто не стоит над ним и не заставляет делать не нравящееся ему. О, это чувство!.. Киш, несмотря на то что появилось оно, казалось бы, совсем недавно, уже успел привыкнуть к нему, сродниться с ним. Что-то удивительное творилось в душе: словно бы ничего и никогда не было в ней, кроме этого чувства: ни ненависти, ни страха, ни обиды... Ни разу еще он не казался себе таким счастливым и мудрым, как нынче. И не беда, что усталостью налиты ноги и рукой лишний раз пошевелить нельзя. И все же... все же порою его охватывало беспокойство.

– Значит, в церкви схоронимся?

Христя обернулся к товарищу. О чем он?.. Но недоумение длилось недолго. Понял, что расслабился, а это никуда не годится в его теперешнем рисковом предприятии, и он в мгновение ока, подчиняясь инстинкту осторожного и хитрого зверя, стянул с себя оцепенение, шаг его стал по-кошачьи легким и упругим, во всем теле ощутил привычное волнение, которое всегда помогало оставаться самим собою, что б ни стояло на пути.

– Можно и в церкви, можно и у гуляющей бабехи. Знал такую... А еще лучше стоящую развалюху подыскать. Там не выдадут.

Лохов промолчал. Ему трудно проследить за мыслью Киша, которая, как и он сам, увертлива и сильна. Он привык к ясности во всем: к ясности собственного существования на земле, к безоблачной ясности зимнего сибирского неба, к ясности мысли. Впрочем, если бы он сильно пожелал понять товарища, может, и сумел бы понять.

Перед тем как отрядить свои ноги в бега, Лохов имел разговор с женою, бабой доброй и ласковой, и этот разговор неотступно преследовал его.

– Как пропишу в письме: устроился на железке ладно и возвернул должок приказной крысе до единой копейки, и ей неча гоняться за мною, – тогда и жди, приеду, заберу с детишками, и заживем в деревне на своем хозяйстве...

Так говорил Лохов и верил в то, о чем говорил, но теперь заробел, и тихое, сразу и не разглядишь, отчаяние затомило, и соленой горечью глаза ело. «Господи Иисусе, – шептал. – И пошто я согласился? Видать, бес попутал, а пуще того Христа Киш...»

До церкви оставалось совсем немного, сажень двести, когда из ближайшего заулка вынырнул толстенький стражник в ярко-синем мундире с круглыми блестящими пуговицами. В плоском свете фонарей его фигура двоилась, троилась... И это создавало впечатление множественности опасности, которая угрожала...

Лохов метнулся к забору и застыл, бормоча под нос:

– Пронеси, господи, не дай сгинуть!..

Христа побледнел, но не сдвинулся с места. С ненавистью смотрел на приближающегося стражника и с лихорадочной поспешностью прикидывал, что делать, если тот заподозрит неладное. Мысли сшибались и тут же бесследно исчезали, и это было худо, Христа даже в самых трудных обстоятельствах умел не теряться... Догадывался, откуда идет эта неуверенность... Конечно же он попросту боится оставить беззащитным нежное чувство, что стало так дорого.

А стражник подходил все ближе и вот наконец остановился. Его круглое румяное лицо заметно поскучнело, когда он увидел побродяжек. Ясное дело, побродяжек. Кому ж еще шландать в этакой одежке без единой застежки?..

Стражник был человеком не злым и, как всякий русский, идущий со службы, ленивым и беззаботным, и ему не хотелось возвращаться в управу. Однако ж он вспомнил, что завтра в рабочий поселок пожалует с инспекционной поездкой Его превосходительство генерал-губернатор Восточной Сибири и посему от начальства получен строгий наказ очистить улицы и подворья от прилюдного люда. Стражник грустно вздохнул, но, памятуя, что исполнительность есть черта, от которой польза иной раз случается отменная, подавил в себе неудовольствие и подступил к Кишу, признавая в нем старшинку:

– Откуда?..

Голос у стражника жесткий, горловитый, но без того пресловутого металла, который по большей части пугает людей, и Христа приободрился, сказал, прикрывая рукою большую красную заплатину на черной, напуском, сатиновой рубаше:

– Беда приключилась: вся животина издохла, детишки ревмя ревут, жрать неча... Баба у меня на что уж была гладкая, а и та лицом оскудела, паскуда! Хошь пропастину жри... Но я кумекаю, сладится, работенку подыщу на железке, слышать, ладно жалуют, деньгу сколочу. Не обезручел ишо.

– А это кто ж?.. – мельком глянув на Лохова, спросил стражник.

Киш метнул взгляд на своего товарища. Совсем потерялся от страха Лохов, ничего не видел вокруг себя, кроме большого красного погона на мундире стражника.

– Это мой брательник. Блажной. Слышь, и теперя лопочет...

– Будет кормить байками, – устало сказал стражник. – Давай сюды бумаги с гербом, значит, с государевым...

Христя и ожидал этого, и боялся, и, не сознавая, что делает, схватил стражника за ворот: – Ты... сука! Задушу!

И задушил бы, не оторви его от стражника вконец перепуганный Лохов. Когда ж Киш пришел в себя, увидел слегка прищуренные, насмешливо спокойные глаза стражника и тоскливо сказал:

– Веди, тряпичное твое рыло...

Вот и не стало нежного чувства. Скучно... Были маленькая камера с зарешеченным окошком, у которого дремал караульный, и – холодный каменный пол, и – параша в углу, и – Лохов с безвольно подрагивающими плечами.

Открылась обитая железом дверь, кашляющий, с какою-то вялою хрипотцою голос произнес:

– Которы нынче изловлены, выходи!..

Христя первым шагнул через порог и, смятенный, остановился. Увидел человека, которого не ожидал увидеть. Нет, он конечно же знал, что рано или поздно их пути-дороги пересекутся, но не так скоро. Заскрежетал зубами:

– Проворен, сволочь!..

А тот, плосколицый, с широкими рыжими бровями, уже шел навстречу, улыбаясь:

– Вот так улов! Богатющий улов!

Давешний стражник ничего не понимал и все ж с интересом наблюдал за этою встречей. Заметил, как судорога исказила лицо Киша, прошла по искривленному подбородку, крикнул:

– Осторожней, Назарыч! Парень-то с норовом.

Но тот лишь усмехнулся, подошел:

– Что, не рад свиданию?

– И как тебя земля держит, нюхатый пес?! – обмякнув, вяло сказал Христя.

– Да уж, нюх у меня ладный, можно сказать, собачий нюх. – Он явно гордился своею удачливостью и не скрывал этого. – Как же ты хотел уйти от меня не спросясь? Отродясь такого не было и не будет.

– Врешь, пес!

Назарыч не стал спорить, заметил прижавшегося к стене Лохова, спросил с удивлением в мягком, словно бы обволакивающем этою своею мягкостью, голосе:

– А тебе-то, Филимон, чего в бегах искать? Ну, Киш – понятно, у него внутри черт сидит, вот и мучит. А ты?.. Иль богатства захотел? И-эх!.. – Повернулся к стражнику: – Завтре заберу. Мои... – Ушел.

И снова они оказались в камере, сидели поодаль друг от друга, молчали. Но вот Христя тихо запел:

Меж высоких хлебов затерялся  
Небогатое наше село.  
Горе горькое по свету шлялося  
И на нас невзначай набрело...

Голос у Киша приятный, он словно бы зовет куда-то, где не будет так тягостно на сердце, так горько, где ждет радость, и Лохов, поддавшись этому чувству, сам того не заметив, тоже запел:

Суд приехал. Допросы. Тошнехонько...  
Сдогадались деньжонок собрать.

Оглядел его лекарь скорешенько  
И велел где-нибудь закопать...

Песня не томила своею болью, была легкой и волнующей, и эта легкость и волнение удивительным образом подействовали на Филимона, он забыл о страхе, который стал особенно непереносимым, когда увидал приискового стражника.

Оглядел его лекарь скорешенько  
И велел где-нибудь закопать...

Христя понимал, что теперь чувствует Лохов, и сам чувствовал то же, и это примиряло с товарищем. В другое время он долго не простил бы ему душевной слабости. Но так могло случиться в другое время, а нынче он сказал:

– Ничё, Филька, еще погуляем.

– Боюсь, выпорют.

– Может, и выпорют. А может, и похлеще придумают. Но да нам не впервой терпеть.

А потом была чуткая, какая-то настороженная дрема, когда все ощущаешь вокруг себя: и где находишься, и кто рядом с тобою на холодном полу, и отчего он мечется и жалобно всхлипывает во сне... Христе хочется поднять голову, растолкать Лохова, но такая слабость в теле, рукой не пошевелишь. И он лежит, стараясь не замечать всхлипов товарища. Вскоре это удастся, и дрема делается сладкой, щемящей... он видит маленькую женщину в выцветшем сарафане. Женщина подходит все ближе, ближе. «Христенка, чё они исделали с тобою, окаянные?» Киш силится вспомнить, где и когда видел это смуглое лицо с большими темными глазами, и не может вспомнить. Но ведь видел же! И вдруг... «Матушка, я узнал тебя. Узнал! – шепчет. – Где ты нынче? Ладно ли тебе?..» Женщина вздыхает: «На земле лучше, хошь и маотно. А тут больно уж тихо. Тут завсегда тихо». – «А я, матушка, почитай, и не помню тебя». – «Виноватая я перед тобою. Не надо было мне помирать. Как ты жил без меня, сердечный?» – «А, всяко-разно. Кормился...»

Христя открывает глаза, ошалело смотрит по сторонам, но в камере темно, возле зарешеченного окошка все так же маячит караульный. Киш подымается с пола, подходит к окошку:

– Сюды никто не заходил?

– Не-е...

– Померещилось...

– Померещилось?... – Давешний караульный словоохотливее, чем днем. Знает, начальство и выстрелом не подымешь, а до развода еще далеко.

Христя с минуту молчит, потом говорит медленно:

– Матушка померла, когда я был мальцом, а от батяни проку на грош: спился и теперь из кабака, слышать, не вылазит, хошь и стоит одною ногою в могиле. Ну вот, матушку-то, можно сказать, и не помню, а только нынче пришла ко мне, и я, надо же, узнал ее.

Киш так и не уснул до утра, а когда начало светать, стал смотреть в зарешеченное окошко на узкую, длинную полоску розового неба.

Проснулся Филимон, сел на полу, протирая ладонью глаза и с удивлением разглядывая темные, давно не беленные стены. Со двора донеслось: «Едут! Едут!..» Шум наплывал безотчетно тревожный. Всколыхнула утреннюю тишину команда: «Становись!..» Христя с недоумением посмотрел на Лохова, тот безразлично пожал плечами.

В камеру вошел караульный, поставил на пол кружки с дымящимся кипятком, аккуратно положил возле них пару кусков черного заплесневелого хлеба.

– Чего там, на воле: возня какая-то, шум?..

Караульный, помявшись, сказал:

– То и деется, что генерал-губернатор пожаловали...

Со двора вкатилось в камеру:

– Савоська, хрен мордатый, долго тебя ждать?!

Караульный подхватил винтовку, выбежал за дверь.

Киш взял обеими руками кружку, отпил, поставил ее на пол, задумался. Потом поднялся на ноги, подошел к двери, толкнул плечом... Железная дверь нехотя, со скрипом подалась. Христя от неожиданности обомлел; когда же очнулся, сказал:

– Слышь-ка, не заперто.

Филимон не услышал. Тогда Киш осторожно, на цыпочках, приблизился к нему, встряхнул за плечи:

– Не заперто, толкую. Видать, караульный запомнил... Может, выберемся? Все, поди, удрали встречать генерала... Подымайся!

Христя прошмыгнул в дверь, очутился в просторной комнате. В углу стоял глянце-вито-черный стол, на потрескавшейся стене висел большой, во весь рост, портрет важного сановника, он сердито смотрел вниз и словно бы хотел сказать: «Гляди у меня!...» Киш поежился: «Будет злиться-то! Иль мы от доброго житья дали деру с прииску?..»

Лохов, выходя из камеры, зацепился полою рубахи за гвоздь, торчащий с наружной стороны двери. Христя едва сдержался, чтобы не выругаться. Медленно, смотря напряженно перед собой, прошли по двору полицейской управы и очутились на тихой, безлюдной в эту минуту улочке. Пересекли ее, долго брели задворьями, озираясь по сторонам, и даже, оказавшись у рабочих барачных, приземистых, почернелых, задами упирающихся в таежную неоглядь, и малости не помедлили, хотя день назад Христя так и полагал, что в случае чего здесь и переждут: «Свой брат, не выдаст...» А нынче другое, нет мочи остановиться, оглядеться, прийти в себя, страх мает, липкий, знобящий, при желании и потрогать можно руками, чтоб потом пуще заботиться. Вот такое чувство... И не только у Филимона, тут вроде бы все ясно, с малых лет привык жить в страхе, сначала батяньку боялся до смерти: крут, чуть что не по ему – хватался за вожжи... Дело прошлое, однако ж и то помнит Филимон, как однажды пришел батянька с монастырского поля, а матушка чего-то скажи вперекор, и так был темнее ночи, а тут и вовсе почернел, схватил матушку за косы, выволок на подворье, бил смертным боем, а потом велел взять лопату и погнал ее впереди себя, как безмозглую животину, через всю деревню к старому, подле березовой рощицы у Сибирского тракта, на пригорочке, кладбищу. Как пришли, велел матушке копать могилу, а сам стоял и усмехался черно... И копала матушка, обливаясь слезами, и просила себе смерти. И Филька был возле них, малой вовсе, под носом мокро, скулил:

– Батянька, батянька, не убивай мамку! Не убивай!

Суков батяня и к людям неласков, оттого и смерть принял неладную: вдруг загорелась заимка на монастырском выгоне, где ночевал батянька, со всех сторон занялась разом, и уж не выбраться из огня... Потом Филимон, вошедший в лета и девку себе подыскавший, не красавицу, нет, однако и не последнюю на деревне, по достатку своему, долго ходил с матушкой по пожарищу, косточки обгорелые искали да собирали их в черную домовину, которая стояла тут же... Схоронили все, что осталось от батяни, год спустя женился Филимон, взял монастырское поле, свое, слабое, у самого Байкала, на ветру, что посеешь, то и пожнешь, стал работать... Все бы ничего, да матушка умом тронулась, вдруг подымется посреди ночи и выбежит на подворье, простоволосая, и все шепчет, шепчет, бывает, что и на пожарище убежит: протоиерей, настоятель монастыря в Посолье, велел в другом месте строить заимку, а эту бросить... Мать очутится на пожарище, запустит ладони в золу и смеется: «То и осталось от тебя, Афонька, пыль... А грозился по первости меня известить. Ну нет! Я попроворнее оказалась...» Долго, до глухой ночи сидит на земле и глядит вокруг себя безумными глазами, но случается, заплачет, подвывая, начнет рвать на голове волосы.

Слухи поползли по деревне: Филька-де с матерью извели отца, – и уж до самого старосты дошли, а старосту Лохов боялся не меньше, чем батяню, и все по первости думал, пронесет: в чем он повинен, слухи пустые... Но староста как-то пришел на лоховское подворье, стал спрашивать сначала у Филимона, а потом у матери, не гляди, что безумная... И глаза у старосты были злые, но пуще того сделались злые, когда матушка неожиданно подскочила к нему, с минуту пристально вглядывалась в широкое, с длинной черной бородой лицо, спросила:

– Ты жив, Афонька, не сгинул? Беда-то... беда-то...

Сказала и пошла по подворью, слабая, немощная, стебелек, увядший раньше времени, а скоро упала на землю, воя.

– Ишь как кровь-то мучит, – суровея, сказал староста. – Ишь как...

– Да ты чё? Чё?

Ни тогда, ни теперь Филимон не мог объяснить, как случилось, что он схватил старосту за ворот курмушки, притянул к себе и ударил в скуластое, с маленькими злыми глазами, такое ненавистное в ту минуту лицо. А потом еще, еще... И откуда силы взялись, ярость, разошелся, и все нипочем. Наверно, староста смог бы совладать с Лоховым, был крепче, сильнее, но не ожидал от парня этакой прыти и растерялся, всего-то неумело уворачивался и бормотал:

– Да ты чаво, паря? Чаво?.. Да я ж засажу тя, сукиного сына, в каталажку. Да я к властям...

А когда Лохов пришел в себя, лютой волной накатил на него страх, и через минуту-другую ничего уж не осталось на сердце, кроме этого, все остальные чувства смявшего страха, и он, трясущийся, бледный, забежал в избу, схватил молодуху за руку:

– Бежим!..

Не скоро еще оказались в далеком, северном Баргузинском уезде, там повезло, взяли Лохова на прииск мыть золотишко, а в бараке нашлось место и для молодухи, к тому времени забрюхатевшей. На прииске, среди разного люда, и удачливого, и нет, не во всякую пору доброго, а все ж не злого, мало-помалу начал оттаивать Филимон, бывает, что и расскажет о себе малость самую, и о матери обезумевшей, которая нынче одна-одинешенька среди людей, тоже расскажет и услышит слово участливое и улыбнется. Но, видать, на роду у него так написано... Работа на прииске в последнее время шла ни шатко ни валко, задолжал Лохов в приказную избу, а тут слух пронесся, что по ту сторону Байкала железку строят и заработки там ладные, были б руки... И – загорелось, с утра об одном и думает, что про те заработки, а в мечтах рисуется, как он вернулся в деревню – и сразу к старосте, тот хмур и суров, но увидал в руке у него денежку и подобрел:

– Ладно, прощаю. Иди к отчему порогу, живи...

Верно что, знает Лохов, так и случилось бы, когда б пришел в деревню не с пустыми руками. Но как же ее заиметь, эту самую денежку?.. Не дается в руки вроде сказочной птицы...

– А мы приручим ее, ей-богу!

Это конечно же Христя Киш, ловок, боек, и Лохов поверил ему на слово, может, потому и поверил, что ничего другого не оставалось, нежданно-негаданно затомилась душа, заскучала, и все-то обрыдло в чужом краю, отчий дом вспоминается, деревня на берегу тихой речки, и загрустит посреди дня и скажет что-то невпопад, а хуже того – сделает чего не так; пошли штрафы, нынче запишут, завтра... Уж и не знает, как из них выбраться, а когда отчаялся и тоска по отчему дому стала непереносимой, разыскал Христю, сказал, наперед зная, что услышит:

– Бежим...

Так и было: страх липкий и знобящий гнал Филимона в таежную неоглядь. Все дальше, дальше... Тот же страх мучил и Киша, и это было странно и так непохоже на него. Ему бы хоть на минуту остановиться, поразмыслить, а он все идет, идет, торопко и хлестко, и длинные, теплые ветки по щекам бьют, и шустрый, промеж сосен и елей, ветерок, бог знает по какой надобности залетевший в тайгу, напирает, кучерявит длинные, давно не стриженные волосы.

Неловко Христе, совестно перед товарищем, а пуще того перед самим собою, да нет мочи остановиться.

– Все, не могу больше...

Киш с неодобрением посмотрел на товарища, но осилил в себе неладное, замедлил шаг. В памяти шевельнулось давнее. Жил мальчишка на городской окраине, с утра по дворам шатался, а то и на базар сбегает, надо ж кормиться, отец человек вольный, чуть свет уж нету его в бараке... «Тетенька, дайте копеечку за-ради Христа. Я и сплясать умею, и песню спеть...» Случалось, давали. А как подрос маленько, стал вхож в городские ночлежки, там впервые узнал горький вкус украденного куса хлеба. Мог бы и вовсе потеряться, а то и в Большие Иваны выйти, но уже тогда жило в душе уважение к себе, с каждым годом это чувство крепло, пошел на пристань и по гибким гнущимся мосткам стал сгружать с пароходов тюки с купецкими товарами, а потом и на севере оказался, в суровом Баргузинском крае.

Бывало разное, но ни при какой погоде Христа не ломался и умел постоять за себя... А вот недавно другое захлестнуло, славное, однако теперь нету того чувства, осталось от него сладкое и щемящее воспоминание. Обидно, что нету, и всему виною Назарыч, нет, он не боялся его, как и многие на прииске, а все ж испытывал перед ним робость.

– Передохнуть бы маленько...

Христа хотел сказать что-то злое, но сдержался:

– Вот у мыска отдохнем.

До чего же совестно! Поддался страху и потерял в себе что-то светлое и умное. А может, не все потерял, обронил в спешке кое-что из того, чем жил?.. Было б плохо, если бы потерял вовсе. Случись это, и Христа стал бы ничем не лучше Филимона, вон идет чуть в стороне, и руки у него суетливые какие-то, и глаза... Э, лучше не глядеть в эти глаза, и так на душе стыло, а посмотришь в них, пуще того совестно делается. Вспоминается Кишу видение недавнее: матушка приходила... Зачем приходила-то, иль сказать хотела о важном? Слышал от людей: коль привидится покойник – к болезни, значит... И впрямь к болезни, думает, да не к телесной – к другой...

Христа ругает себя почему зря и слова находит хлесткие и горькие, или чудится, что находит, небось начал бы говорить о том, что на сердце, сразу запутался бы. Может, и так. А может, и нет?..

Подходят к мыску, густо заросшему низким лиственничным лесом. Такого леса Киш еще не видел, деревья сильно изогнуты, в кронах чернеют вороны гнезда, сами же кроны тоже почернелые, игольчатые веки опущены книзу, едва ль не земли касаются, а у стволов густо и домовито высятся муравьиные горки. Их так много, что со счету собьешься, стоит приглядеться – увидишь, как носятся муравьи туда-сюда, туда-сюда, бывает, что и к лицу подберутся, и тогда Христа сердито смахивает их рукою. Пройдет немного времени, и Киш узнает, что эта сопка, поднявшаяся над тайгой, так и зовется Муравьиною, а деревья оттого искривлены и смотрятся потерянно и одиноко, что байкальские ветры тут гуляют и днем и ночью, зимою и летом, не дают им распрямиться.

Но теперь Христа ни о чем этом не знает и со смущением смотрит по сторонам:

– Проклятое место...

Лохов словно бы этого и ждал, жалуется на жизнь, ругает порядки на прииске, откуда ушел в недобрый час, поминает досадливым словом и товарища, который сманил.

– Будет... Слышь!..

В голосе Христи не уловил Филимон неприязни; когда б уловил – может, и пуще того разошелся бы, бывало с ним и такое: вдруг да и шел наперекор всему, позабыв о страхе, который, кажется уже стал частью его самого; не услышал неприязни в голосе товарища, зато услышал другое, уверенное и сильное, что неизменно влекло к Кишу, нашептывало: все будет

хорошо... хорошо... Впрямь ли?.. Но хотелось верить в лучшее, и Лохов, насколько это было в его власти, приободрился и тоже стал смотреть по сторонам, а потом и сам сказал:

– Проклятое место...

Верно, что проклятое... Только начали спускаться с сопки, хватаясь руками за холодные искривленные стволы и старательно обходя муравейники, тут-то и увидели... Наваждение ли, другое ли что?.. «Тю меня! Тю меня!.. – лихорадочно зашептал Филимон, разом сделавшись тем, кем и был на самом деле. – Сгинь! Сгинь!» И Христя побледнел, каждая жилочка в худом лице напряглась, дрожня задрожала, схватил за плечо Лохова сильными, посиневшими пальцами, сжал больно. Так и стояли и смотрели на то, что открылось глазам, а потом Киш прошептал сдавленным, будто враз смятым голосом:

– Никак, человек? Голый только... И шевелится вроде бы... Глянь!

И впрямь человек... Уж когда подошли, тогда и увидели, что человек... Был он привязан к дереву упругими сыромятными ремнями; босыми, уже почерневшими и сильно опухшими ногами стоял на муравьиной куче, грудь у него желтая и тоже припухшая, и по ней, сшибаясь, ползали муравьи.

– Кто это тебя?..

Человек с трудом разлепил черные потрескавшиеся губы, что-то сказал, но Христя не понял, опять спросил, и человек снова что-то сказал, неумело и вяло ворочая челюстями; и Киш оставил на время попытку узнать что-либо, стал поспешно, обрывая пальцы, раскручивать узел. Когда удалось управиться с тугим, словно бы намертво связанным узлом, сыромятные ремни упали на землю, и человек, безвольно обвиснув, тоже упал бы, если бы Христя не поддержал его, а потом не оттащил от муравьиной кучи и не положил на мягкую, ласковую траву. Помедлив, начал растирать ладонями слабое обезволевшее тело, слышал от бурят, что так и надо делать, и теперь с лихорадочной поспешностью приводил в чувство этого, нежданно-негаданно встретившегося на пути человека. Когда же тот был в состоянии говорить, узнал, что попал он сюда по вине нового стражника, но по своей воле, сказал стражник: хошь, упеку надолго в каталажку, а можно и так... постоишь сутки-другие на муравьиной куче – и отпущу... Человек выбрал второе, стражник привел его сюда и привязал к дереву, а потом долго смотрел, как по нагому телу ползали муравьи. Сидел стражник поодаль, на поваленной лесине, и улыбался, когда человек начал извиваться и стонать.

– Ничё, милый... ничё... Потерпи маненько, потому – для порядку. Как же без порядку? Вот и на прииске у нас то ж...

Что-то знакомое почудилось Кишу в этих словах. Не ошибся: вон и Лохов догадался и затрясся весь... Назарыч, его работа, больше некому! Помнится, говорили добытчики: балует Назарыч, уж больно любо ему глядеть на муки человеческие...

– Ах ты, ведьмино отродье!

Яростное и не подвластное его воле чувство поднялось в груди, и теснит, и мучает, и уж не совладать с собою – куда там! – схватился за голову, завыл, качаясь из стороны в сторону. Потом отыскал аккуратно сложенную на траве одежду, и в этой аккуратности тоже был виден Назарыч, который любил во всем порядок, горько стало и обидно, и не только за этого человека, но и за себя, и, не умея ничего поделать с обидою, закричал:

– К хозяину пойдем. Обскажем!..

Ему пытались возражать, но он не слушал:

– Так и сделаем. Т-так!..

И была в этом крике сила, большая и грозная, нездешняя, почувствовал ее в себе Христя, а почувствовав, сделался расторопен и решителен. Не дал человеку натянуть на себя одежонку, так и пошли, взяв его с обеих сторон под руки...

## Глава 3

Почетный гражданин города Верхнеудинска, коммерции советник, подрядчик на строительстве Кругобайкальской железной дороги Мефодий Игнатьевич Студенников не был человеком веселого нрава. А узнав, что приехавший генерал-губернатор изъявил желание остановиться на отдых в его доме, еще больше помрачнел, стал податливым на злое слово и, что уж вовсе удивительно, зайдя на кухню и отдав необходимые распоряжения, с досадою шлепнул половую девку по тощему треугольному задку. Это мгновенно разнеслось по всему дому, вселяя тревогу в душу многочисленной прислуги. Кто-то сказал: «Господи, спаси нас, грешных, от злого наваждения, не дай сгинуть...» Эти слова услышала вся челядь и враз сотнею глоток выдохнула: «Господи, спаси нас... не дай сгинуть...»

Настроение у Мефодия Игнатьевича еще больше омрачилось, когда к нему в дом ввалились, окруженные толпою, двое приисковых беглых и еще кто-то, большой и черный, раздетый донага. Он хотел прогнать их, однако ж, услышав, что случилось, заметно растерялся, и думать не мог, что такое возможно на его участке строительства Кругобайкальской железной дороги. Немедленно распорядился сыскать беглым места в бараках и зачислить на работу, а тому, третьему, на которого и смотреть нельзя было без сострадания и досады, выдать пять рублей за причиненные ему обиды; обещал примерно наказать стражника. Он мог бы и не обещать, но, во-первых, и сам был возмущен тем, что случилось, а во-вторых, это противоречило бы его жизненным принципам, стремлению к порядку во владениях, которые принадлежали ему. Что же касается беспорядка во владениях других... это его не трогало, не вызывало и малой досады.

Он жил как бы в вакууме, созданном воображением, сюда не было доступа не только посторонним, а и близким, включая жену – красавицу Марьяну. Он уже понял, чего она стоит со всеми своими светскими привычками, позаимствованными от высокородных, однако ж изрядно обнищавших родителей, и откровенно скучал с нею. Все реже и реже заходил в ее покои, а по утрам, встречая укоризненный взгляд, хмурился и старался поскорее уйти. Для любви быстрой, немногословной у него и в этом поселке была женщина, и спустя какое-то время собственная жена сделалась для него привычной деталью обстановки, которую не хотелось бы страгивать с места именно потому, что она привычна. Однажды Мефодий Игнатьевич распорядился заменить в кабинете диван и потом долго досадовал на себя: новый диван оказался слишком жестким, а обшивка чересчур яркой. В конце концов он приказал выкинуть его к чертовой бабушке и поставить на место старый.

Нынешнее дурное расположение духа еще не скоро сменилось на спокойствие, и произошло это, когда Студенников подумал, что в свите генерал-губернатора непременно окажется человек, которого можно попросить сделать так, чтобы ему, подрядчику на строительстве Кругобайкальской железной дороги, меньше досаждали всяческими распоряжениями и требованиями Комитета по строительству Сибирской железной дороги, и зачастую за высочайшею подписью.

Случилось, как и предполагал: в свите генерал-губернатора состоял весьма основательный человек, на слово которого можно положиться. Он, позаимствовав энную сумму из казны Мефодия Игнатьевича, сказал:

– Смею вас уверить, что просьба будет непременно передана мною нашему министру Сергею Юльевичу Витте, и он, надо надеяться, примет ее к сведению.

Студенников поблагодарил, велел приказчикам отправить в адрес высокого гостя характернейшие товары китайского производства, а также столь же высоко ценимые нынче в Европе предметы культа буддийской религии, после чего уселся в кресло и стал слушать беседу генерал-губернатора со славными представителями города Верхнеудинска, которые не преминули увязаться за его высокопревосходительством. Очень скоро Мефодий Игнатьевич заскучал – он

понял, что генерал-губернатор мало сведущ в строительных делах, более того, не выказывает и малейшего рвения познать их. Неожиданно в голову пришел вопрос: а смог бы он сам управляться делами в масштабах государства, будь на то божья воля?.. И не сразу ответил. Человек трезвого рассудка, он не считал себя достаточно подготовленным, хотя, очевидно, исполнял бы свои обязанности со всею тщательностью и старанием. «Наверняка я управлял бы не хуже всех этих господ, – подумал, втайне гордясь собою. – Ибо управлять – значит предугадывать ход событий и уметь вовремя сориентироваться по ветру и поставить нужные паруса. А кто в пределах губернии, включая его высокопревосходительство генерал-губернатора, более, чем я, способен быть таковым?..»

Видя, как генерал-губернатор лениво кивает головою, слушая собеседников, и нехотя говорит: «Да, я постараюсь... Да, конечно, если вы считаете нужным...» – Мефодий Игнатьевич подумал, что ничего тот не постарается, а если кто и постарается, чтобы железная дорога быстрее прошла через Сибирь, так это он, Студенников, и такие, как он... Это придало ему значительности в собственных глазах, и он, поднявшись с кресла, сказал чуть ли не торжественно:

– Господа, я полагаю, нашему драгоценному гостю надобно отдохнуть после столь утомительного путешествия.

Генерал-губернатор благодарно посмотрел на него и, прикрыв рукою глаза, сказал:

– Я что-то хотел, дай бог памяти... Ах да! Вы дворянин?

Студенников неуверенно переступил с ноги на ногу и несмело обронил:

– Сие звание мною, ваше высокопревосходительство, благоприобретено. – И сейчас же обозлился, сказал с вызовом: – Но у меня есть в доме и потомственный дворянин. На хлебах живет.

Вошла Марьяна, сияющая, красивая в вечернем платье и, даже не взглянув на супруга, короткими шажками подошла к генерал-губернатору:

– Ваше высокопревосходительство, позвольте побеспокоить. Отдыхать приготовлено. Будьте столь любезны последовать за мною.

«Ох, шельма! Ну, шельма!.. – усмехнулся Мефодий Игнатьевич, когда генерал-губернатор со свитою и Марьяна вышли из гостиной. – С такую женушкой не пропадешь!..» Он только теперь понял, для чего нужна ему очаровательная супруга. Она привлекательна, и люди вольно или невольно тянутся к ней, а ведь среди них немало тех, кто надобен в деле. «Ну что ж, станем пользоваться ее услугами почаще. Благо недорого стоят!» Но тут Студенников вспомнил, с какою надменностью смотрели на него «свитские», когда генерал-губернатор спросил: «Вы дворянин?..» – и острая досада шевельнулась в груди: «Неужели они все еще полагают, что лучшие человеческие качества имеют быть лишь в людях дворянского звания? А вот сейчас мы поглядим...» Он помедлил, крикнул:

– Позвать ко мне Иконникова!

Иконников вошел в гостиную тихим неуверенным шагом. Худой, с нервно подрагивающими руками, остановился возле кресла, на котором сидел Студенников, поклонился и тут же с обидою подумал: «Что это я?.. Опустился до такой степени, что дальше некуда...» Ему и до встречи с сибирским промышленником нехорошо жилось на земле, но прежде он хоть чувствовал, что должен что-то делать для того, во всяком случае, чтобы изыскать способ прокормиться. Эти вечные поиски наполняли его жизнь смыслом, и потому он все еще жил и, смиряя гордость, шел в богатые дома, где давал уроки музыки избалованным роскошью юнцам, а зимними вечерами сидел в питейном заведении и пропивал нелегко добытые деньги. Он быстро пьянел, и в разгоряченном мозгу роились странные мысли, и не существовало предела его сумасшедшей фантазии. Он казался себе личностью выдающейся, способной спасти Россию, дремлющую под игом невежества. И тогда шел к самому графу Льву Николаевичу Толстому и предлагал прожект спасения Отечества. Гениальный старец выслушивал, одобрительно похлопывал по плечу и всякий раз говорил:

– Я и прежде утверждал, что благородный брат мой Иконников и есть человек, который нужен России.

Иконников с достоинством кланялся графу, обещал привести в исполнение свой прожект и удалялся.

А то вдруг представлял себя в облике ужасного злодея, которому все нипочем: страдания близких людей, проклятья слугителей господ бога. Он, этот злодей, задался целью уничтожить все, чему поклонялись поколения. Самое значительное общественное деяние было неприятно ему, самое высокое искусство вызывало насмешку. Говорил себе:

– Величие государственного деятеля чаще всего миф, развеять который так же просто, как раздавить резиновый мяч. Сложнее управиться с теми, кто служит искусству. Но и тут мы постараемся что-нибудь придумать.

Он не успевал придумать: хмель улетучивался, а в кармане не оставалось и гроша. И тогда, ссутулившись, шел туда, где не было людей, и долго беззвучно плакал, припоминая все обиды, которые были нанесены ему в последнее время. Странно, он никогда не думал о прошлом, словно бы этого прошлого не существовало, а еще вернее, словно бы не принадлежало ему, а являлось чьей-то чужою собственностью.

Иконников обрадовался, когда Студенников предложил ехать в Сибирь. Он тогда находился в таком положении, что согласился бы ехать хоть в Тмутаракань, лишь бы не ходить по опротивевшим улицам древней русской столицы. Не знал, для чего понадобился сибирскому промышленнику, и не хотел знать...

– Я вас слушаю, – сказал Иконников.

Мефодий Игнатьевич глянул на него по-бурятски раскосыми черными глазами и промолчал, стал неприязненно рассматривать старчески сутулую фигуру приживала, его безвольные плечи и мысленно ругал себя, что поддался чувству обиды на людей, которые могли походя с холодным безразличием спросить: «Вы дворянин?..» – и вот вызвал этого... потомственного, чтобы утвердиться в мысли, что не хуже их всех, нет. Стыдно!

– Как вам живется у меня? – спросил.

– Плохо, – ответил Иконников. – Скучно...

Мефодий Игнатьевич смутился. Он считал Иконникова вещью, пускай и не очень важной, но без которой вся домашняя обстановка смотрелась бы не столь убедительно. Выходит, он ошибался, и Иконников отнюдь не вещь. Это было столь неправдоподобно, что он не удержался, сказал возмущенно:

– Не городите чепуху!

– Я говорю совершенно серьезно. Вот что... отпустите-ка меня на прииск. У вас ведь есть там...

Иконников уже не в первый раз просит об этом. Что же делать? Отказать – значит признать свое неумение обойтись без привычной вещи. Студенников колебался, и это колебание отчетливо проступало в смуглом, худощавом лице, обрамленном коротко подстриженной бородою, заметно было и в том, как мелко и часто подрагивали тонкие розовые ноздри. «Черт знает что!.. – думал. – Жаль старика, сломается, коль окажется на прииске. Слаб, безволен. А там, чтобы выжить, нужна сила. Но, может, не сломается?..»

– Мне трудно на что-либо решиться. Не лучше ли вам остаться в моем доме? В конце концов, вы никому не мешаете и не делаете зла. К тому же к вам здесь привыкли.

Он говорил, опустив голову и упорно разглядывая острые носки лакированных туфель. Было стыдно, очень стыдно, в душе копилось раздражение на этого человека, который чего-то добивается. Вот именно – чего-то... За всем этим он не видел логики. В самом деле, разве обижаются на благодетеля, на человека более чем достойного, которого должно почитать?..

Мефодий Игнатьевич смутно догадывался, что нынешними, трудно объяснимыми действиями Иконникова движет обида. Впрочем, кроме обиды, было еще что-то, неприятное.

Он встречал на своем веку немало приживалов, которые служили в богатых домах для потешных дел, а подчас и в качестве этакого редкого экземпляра. С этими, последними, хозяйева любили знакомить гостей: вот, мол, смотрите, хорош человек, в свое время имел солидные доходы от деревенок и раскручивал гульбища на всю ивановскую; но вот докатился... теперь в нашем доме живет из милости.

Модно стало иметь в доме нахлебника дворянского рода. Сибирские купцы и промышленники наперегонки кинулись на поиск бывших... И Мефодий Игнатъевич не удержался от соблазна, решил поддержать марку своего сословия. В Москве отыскал старичка высокородного, обнищавшего... Но странно: у всех люди как люди, место свое помнят, а ему старичок попался, и что за человек, вдруг запрется в комнате, и ничем оттуда не допросишься, на люди не выйдет. Мефодий Игнатъевич сначала сердился, потом махнул рукою: «Шут с ним, пушай живет как знает».

– Нет, я не останусь в вашем доме. Хочу на старости лет пожить, как мне нравится.

Мефодий Игнатъевич поморщился:

– Хорошо. Пусть будет по-вашему.

Он решил отправить Иконникова доверенным лицом на Баргузинские прииски, хотя у него там уже имелись люди, которые служили преданно, и он в любую минуту мог бы сказать, что сделано, сам довольно редко наезжал в отдаленный уезд. В последнее время он только и занимался что строительством Кругобайкальской железной дороги. Не жалел на это денег, понимая, что с годами получит отменную прибыль. Кое-кто пробовал остановить его: смотри, улетят твои капиталы в трубу. Но Мефодий Игнатъевич и слушать не хотел, а порою злился, посылая незваных доброхотов к чертовой бабушке. Чутье подсказывало, что он прав.

Он знал, что от Иконникова будет мало проку на приисках. Но что делать, коль тот не захотел есть даровой кусок хлеба? Пускай едет. Посидит в глуши и вернется. Куда ему деться?

Мефодий Игнатъевич поднялся с кресла, поправил белоснежный воротничок, застегнул светлый муаровый пиджак на среднюю пуговицу и вышел из гостиной. Проходя мимо лакея, бросил:

– Коль Марьяна Семеновна спросит обо мне, скажешь, потопал в контору.

Студенников любил щегольнуть хлестким словом, полагая, что это к лицу человеку его положения. «Мы люди простые, нам наплевать на этикетки». Знал, что не прост вовсе и талантом не обижен, а приходится смирять себя. Что делать, коль драгоценные родители имели несчастье принадлежать к крестьянскому сословию?..

Мефодий Игнатъевич лукавил, когда сказал, что «потопал» в контору. Нет, не в контору, а к своей возлюбленной Александре Васильевне, женщине полнотелой и ласковой, пошел он.

Впервые встретил ее на торжище. Стояла бабенка, облокотясь о прилавок, зазывала покупателей душевным голосом:

– Орешек спелый, неперезрелый, из лесу пришел, меня бедную нашел... Орешек розовый, кедровый... Подходите, люди добрые, покупайте... Недорого возьму, наложу цельную суму...

«Разбитная, ох разбитная, – загоревшись, подумал Мефодий Игнатъевич. – Ишь как в зазывалку играет». Спросил, пробуя орех на зуб:

– Ты чья?..

– Батюшкино семя, – не помешкав и секунды ответила, – а чьего роду-племени, не ведаю.

– Ну?..

– Вот те и «ну» – увидел меня одну на чужой стороне во плену у сатане.

Мефодий Игнатъевич расхохотался:

– Ну и баба!

– Ты чё, берешь орех иль нет?

– На кой мне орех? – сказал. – А что, сама и добываешь?

– Кто ж еще?.. Одинокая я, бесталанная. Был мужичок, да сбежал куда-то, лишь осталась сума и от портков заплата.

Мефодий Игнатьевич подивился ее откровенности. Понравилась ему бабенка веселостью своею, грустью помеченной, что в пронзительно-синих глазах взблескивала, бойкостью нарастающую, неутайную.

– Где живешь-то?

– В тереме под чистым небом.

Он отошел от торгового ряда. Но на следующий день снова наведаясь на торжище, издали полюбился на полнотелую бабенку, а вернувшись домой, велел «секретных дел мастеру» разузнать, откуда и кто есть удалая грудастая бабенка в голубом с красными яблоками сарафане... Оказалось, местная, живет по-над рекою в ветхом домишке, брошенная.

Поздно вечером постучал в черный, потрескавшийся ставень. Приняла. Приветила как могла. С того и пошло...

Уже давно нету ветхого домишки, стоит на том месте добротный пятистенок, а живет в нем не прежняя Сашка-торговка – Александра Васильевна, возлюбленная известного сибирского промышленника.

...Она ждала Мефодия Игнатьевича, знала, что придет, хотя и не предупреждал. Пошла ему навстречу, радостная, приветливая.

– Чё покинул-то высокого гостя? – Шально глядели глаза потемневшие, сбились набок волосы, уложенные рыжим узлом на голове. – Иль дня не можешь прожить без меня? – Прильнула к нему, нахолодавшему, большим сильным телом. – Дай согрею бедолажного, небось драгоценная-то супруженька, красавица-дворяночка, и согреть путем не умеет.

Мефодий Игнатьевич с трудом освободился из ее объятий.

– Отстань, Сашка, не липни...

– Ох, да как же не липнуть? Посиди-ка цельный день одна-одинешенька, то ли будет?.. – Вскинула голову, горделивая. – Вот заведу любовника пожарчее... Чё, не посмею? Иль не баба?..

– Заводи. Мне-то что?..

Его и вправду не очень трогало это, для него важнее другое... чтоб имелось место, где можно отдохнуть душою и телом и хоть на минуту стать тем, кем наверняка был бы, если б не дело: тихим и незлобивым мужиком, которому отпущено от бога жить мирно, не сквернословя и не обижая себе подобных. К тому же Мефодий Игнатьевич знал, что его сожительница едва ли заведет любовника: не такая женщина, чтоб размениваться... Впрочем, кто скажет? Чужая душа – потемки, в это он твердо уверовал, потому как и в своей собственной по сию пору не разобрался. Вдруг да и найдет – и тогда бог вещь что может вытворить. Уверовал, что неуправляема душа, чья б ни была...

Студенников зажмурился от удовольствия, оглядывая просторную комнату, стены которой обиты темно-желтыми обоями. Прозрачный свет канделябров, сливаясь с тусклыми дневными лучами, пробивающимися сквозь зашторенные окна, создавал приятный розовый полумрак.

Подсел к столу, на котором стояли хрустальные штофы, фарфоровые чаши с желтобокими китайскими яблоками.

– Давай, Сашка, выпьем, – сказал, разливая вино в хрустальные рюмки. – Душа затомилась глядеть на генерал-губернатора и его слуг.

– Чё, шибко сердитый? – встревожилась.

– Если бы!.. Нет, тут другое... Ума, по-моему, недалекого, приехал с инспекцией, а ни в чем не разобрался. Везет России на сановных дураков!

– Ты поосторожней на слово, миленочек. Слово-то не воробей, не зря сказано. И прибрать могут, приласкать, не гляди, что Студенников.

– Донесешь?

– Ой, дурачок, и не совестно? Я о том, значитцо, что у властей уши-то везде и надо бы остерегаться.

– Я тоже власть! – рассердился.

Но она сделала вид, что не услышала, обняла за шею, запела:

Ямщик лихой, он встал с полночи,  
Ему взгрустнулося в тиши,  
И он запел про ясны очи,  
Про очи девицы-души...

Вот за это она и нравилась, за то, что умела бог знает как уловить малейшую тревогу в душе и как пепел после пожараща развеять по ветру, и тогда всякий раз становилось легко, и он с благодарностью смотрел на нее...

Ямщик лихой, он встал с полночи,  
Ему взгрустнулося в тиши...

А потом была любовь, жаркая и страстная, она словно бы делала его сильнее, заставляла, пускай и ненадолго, забыть, что ему скоро сорок, а это, хочешь того или нет, возраст, когда ни о чем другом, как только о деле, уже не думается. Ах, отчего же не думается? Нет же, нет... Мефодию Игнатьевичу много чего хочется, в том числе и любви, той самой, которою одаривает Александра Васильевна. С нею он чувствует себя крепким и уверенным человеком, и этому человеку немало отпущено от бога. И если он пока по какой-то причине не сделал всего, то в недалеком будущем непременно сделает. Кому ж еще открыто смотреть в день завтрашний и надеяться на лучшее, как не ему? А вот с женою, в спальню которой он, случается, заходит, Мефодий Игнатьевич чувствует себя по-другому. Нет, не то чтобы она была менее страстной, вовсе нет, только у нее все это получается как-то подчеркнуто изысканно, когда ни на секунду не забываешь, кто рядом с тобою, и по этой причине и сам становишься похожим на себя и невольно думаешь о том, чтобы скорее все это кончилось, не так уж много времени отпущено на любовь, и в конторе дожидаются дела, не терпящие отлагательства.

Александра Васильевна лежала подле него, успокоенная и разом сделавшаяся вялою, слабою, и он слышал ее дыхание, и это дыхание еще долго было прерывистым и горячим, а потом она заговорила не о себе, нет, о красавице Марьяне, о том, что она хотела бы стать такою же и чтобы на нее тоже заглядывались мужчины; и то, о чем она говорила, Студенников уже не однажды слышал, и это не вызвало ни досады, ни раздражения, напротив, нравилось, что Александра Васильевна худого слова не скажет о жене, словно бы ей незнакомо чувство ревности, но ведь что-то ж должно оставаться на душе, осадок какой-то... Может, и так, только ничего подобного Мефодий Игнатьевич ни разу не замечал, а подчас хотелось бы, чтобы она сказала: «Дура твоя Марьяшка, и чё возишься с ею?..»

Это выглядело бы по-человечески понятно, и он, пожалуй, не рассердился бы и постарался сделать так, чтобы она недолго досадовала. Правду сказать, порою то же самое, но уже от жены в адрес Александры Васильевны ему хотелось бы услышать, а потом внимательно посмотреть в ее глаза и отыскать в них что-то еще, кроме всегдашнего, холодного и какого-то рассудочного безразличия ко всему, что ее окружает, в том числе и к мужу... Но, увы, и этого ему не суждено увидеть. То и обидно. Случается, Мефодий Игнатьевич спрашивает у себя:

– Иль мы и впрямь очерствели душами и не сыщем среди близких даже покоя?..

Он кладет под голову руки и закрывает глаза, и сейчас же накатывает сон, а может, и не сон еще, а легкая дрема. Зрится низенький, толстенький генерал-губернатор с инспекционными бумагами в руках, губы у него дрожат в негодовании, когда он спрашивает:

– А скажи-ка, милейший, отчего у вас по поселку нагишом бродят? Что еще за мода такая?..

Мефодий Игнатьевич силится ответить, но не сразу вспомнит, о чем теперь надо говорить, и не скоро еще на ум приходит происшествие, случившееся неделю назад пополудни. Становится неприятно, что забыл о том происшествии, а еще о своем обещании примерно наказать стражника. Да, да, неприятно! Однако ж отчего именно он должен обо всем помнить, а что же тогда станут делать другие, все те полицейские чины, которые приставлены к строительству железной дороги и в чьи обязанности входит следить за порядком? Он вроде бы сказал кому-то, чтоб сделали невозможным повторение того, что так возмутило не только его, всех, кто стал свидетелем происшествию. Сказал и тотчас забыл о своем распоряжении, есть дела поважнее. Впрочем, так ли? Не было ли тут стремления избежать того, что способно возмутить душевное спокойствие, вывести из состояния озабоченности общим ходом строительства, не вдаваясь в подробности и не вникая в детали, стремления жить как бы наособицу? Наверное, было и это. Он не хотел бы ничего знать, кроме дела, не очень-то понимая, откуда появляется прибыль, и что стоит за нею, и отчего он подчас ловит на себе недовольные, а подчас явно враждебные взгляды тех, кого принято называть работными людьми и кто в иные дни в великом множестве проходит перед глазами, не оставляя заметного следа на сердце. По натуре Мефодий Игнатьевич не был черствым человеком, но дело, которое перешло к нему от отца и которое, в силу того что удачливо, если не сказать счастливо, складывались обстоятельства, Студенников сумел расширить и укрепить, это самое дело не оставляло времени на эмоции, требовало подчеркнутой сухости в обращении с людьми и намеренного нежелания интересоваться чем бы то ни было, кроме дела.

Мефодий Игнатьевич упустил из памяти недельной давности происшествие, несмотря на всю его внешнюю незаурядность, потому что оно не укладывалось в привычные рамки, там ему не нашлось места, и теперь было непросто ответить на вопрос генерал-губернатора, хотя ответить надо бы: не хочется портить отношения с одним из сановных людей, которых он презирает, – уж что-что, а палки в колеса они научились вставлять отменно. И он силится ответить, и в голове уже вроде бы что-то выстраивается, как вдруг другое отвлекает внимание: мысленно видится путешествующий цесаревич, окруженный пышною свитой. Цесаревич в офицерском одеянии, с большою звездой на груди и с яркою лентою через плечо, волосы на голове аккуратно зачесанные, гладкие. Он идет по Большой улице Верхнеудинска, которая сплошь засыпана цветами. В ее устье белеет каменная арка, дома вдоль улицы глядятся торжественно и даже величественно, как будто они прониклись ощущением важности происходящего. И это не остается не замеченным цесаревичем, он о чем-то одобрительно говорит свите, и та охотно кивает и улыбается одною на всех светлою и горделивою улыбкою. Там, где идут почетные граждане города, не слышно, о чем говорит цесаревич, а им очень хочется знать, о чем он говорит, и они напряженно вытягивают шеи, стремясь уловить хоть одно слово, странно, что и он, Студенников, тоже приподымается на носки и тоже намерен знать... Это ощущение слитности со всеми неприятно, но избавиться от него не так-то просто, и все же это удастся, он заставляет себя думать о другом, а вовсе не о том, о чем говорит цесаревич, – к примеру, о самодержавном повелении приступить к строительству железной дороги через всю Сибирь, вспоминаются слова из письма его императорского величества, добрые и славные слова, как с самого же начала считал Студенников, а вместе с ним все купеческое и промышленное сословие города Верхнеудинска:

«Душевно рад, что сближению далекой окраины с сердцем России положено начало и что исполнителем заветной моей мечты явился наследник-цесаревич. Радуюсь вместе с вами и молю бога, чтобы благословил наши труды...»

В те дни образ цесаревича в представлении только что вступившего в права наследия Мефодия Игнатьевича был неразрывно слит с великим предприятием, которое начато по велению его императорского величества на могучих окраинных просторах Российской империи. Думал, цесаревич умен и близко к сердцу принимает все, что связано с нуждами России.

К сожалению, надеждам не суждено было осуществиться. Взошедши на престол, бывший цесаревич с каждым годом стал все меньше внимания уделять строительству Сибирской железной дороги, и это не могло не отразиться на ходе начатого предприятия. Тем не менее остановить строительство уже не сумел бы никто, даже сам государь император, если бы у него вдруг возникло такое желание.

Все эти мысли пронеслись в голове у Мефодия Игнатьевича в какие-то считанные минуты, и он не сразу понял, отчего вдруг вспомнил именно о цесаревиче, уж, конечно, не потому, что многовато тогда возникло толков и пересудов вокруг царствующей особы, соизволившей прибыть в славный город Верхнеудинск. Вовсе не поэтому... Мефодию Игнатьевичу в высшей степени наплевать, кто и что говорит, его не волнует даже и то, что плетется вокруг него самого. Но все-таки что-то же сделалось побудительной причиной этих раздумий. Что же именно?.. Скорее, перемены, происшедшие в строительстве дороги в последнее время, которые не радовали и которые по большей части были вызваны беспорядочными распоряжениями властей, вносящими сумятицу в, казалось бы, хорошо поставленное дело. Студенников вздохнул, повернулся на бок, открыл глаза, хотел уже сказать о том, что маяло, Александре Васильевне, но в последний момент раздумал.

## Глава 4

Уж неделю Бальжийпин живет у старухи, а оглянется назад – и кажется, что всего-то день на исходе, тот самый, первый... Подошел тогда к войлочной юрте, долго стоял, разглядывая и дожидаясь, когда кто-либо выйдет из нее. Не дождался, открыл полог, проскользнул... И опять долго стоял, обвыкаясь с тихим синим полумраком, потом увидел старуху, в длинные седые волосы были вплетены серебряные монеты, в руках она держала сандаловые четки и неторопливо, бормоча что-то, перебирала их, сидя в дальнем углу юрты на темной, изрядно стертой кошме. Бальжийпин поздоровался, но она словно бы не услышала, продолжала перебирать четки. Он не знал, что делать: уйти ли, остаться ли, – и тут почувствовал на себе взгляд старухи, смотрела на него как-то вскользь, с грустною вяловатостью, и не было в этом взгляде ни удивления, ни досады, ни просто интереса. И все же она смотрела на него, и уже одно это успокаивающе подействовало на Бальжийпина, рядом находился живой человек, который ждет чего-то – может, объяснения того, как он тут оказался... Помедлив, начал говорить о том, что он хотел бы пожить в тайге, в степи сделалось очень опасно для него – хуваки рыщут повсюду, и будет худо, если нападут на его след.

Старуха смотрела на него, и Бальжийпин продолжал говорить, хотя как раз и не хотелось этого, порою казалось, что зря совершает над собою насилие, старуха, наверно, и не слушает, не помнит о нем ничего. Впрочем, это даже лучше, что не слушает. Но почему же лучше?... И опять непросто ответить. В своем душевном развитии нынче он вроде бы подошел к той черте, за которую все неясно и смутно, когда даже самые простые истины вызывают недоумение, а подчас и не кажутся таковыми, а только ничего не стоящими, просто за длительностью своего существования сделавшимися привычными.

Бальжийпин ошибался, когда думал, что старуха не слушает. Нет, она слушала, а только не хотела бы ничего знать, с самого начала решила, что пришел не чужой человек, а ее муж, Баярто, который принял другой облик, но в этом она не увидела ничего особенного, после смерти люди меняются, вот и ее муж сделался так непохож на себя прежнего, но ее не обманешь, нет, и она слушает и на свой лад переводит все, о чем говорит муж, сделавшийся после смерти белым человеком, только и осталось у него от давнего – желтый халат с синими заплатками.

«Я иду по канату времени, – говорит муж, который при жизни был шаманом, потом пришли ламы, стали требовать, чтобы он покорился им, а он не пожелал менять себя, и тогда они привязали его к сухому дереву и сожгли. – Вижу нарядных женщин в халатах из далембовой ткани, мальчиков, скачущих на резвых длинногривых скакунах. Мне хочется остановиться, поговорить с тенгриями, но я не делаю этого. Иду дальше к самой большой юрте, где живет владыка добрых тенгриев. Еще издали до меня доносится его голос, и – останавливаюсь в трепете. Долго не могу понять, к кому обращен этот голос. Наконец догадываюсь: ко мне... И падаю на колени, прижимаюсь лицом к теплой земле. Я слушаю голос:

– Нельзя сдвинуть горы, если они обращены вершинами к вечному синему небу, невозможно пройти по канату времени в царство добрых тенгриев, если твоя душа застыла в грехе. Ты прошел и потому слышишь мой голос. Знаю, что нужно тебе, и помогу. В подземном царстве Эрлик-хана восемьдесят восемь темниц, в них томятся души людей, тебе надо пройти туда, но сделать это трудно. Страшен в гневе Эрлик-хан, и, если ты ошибешься в пути, не сумеешь обмануть его верных нукеров – заянов, тебя ждет большая беда: опустит твою душу Эрлик-хан в самую дальнюю темницу, откуда еще никто не выходил, и ты не узнаешь тайну, которую дано услышать только тебе...»

Старуха хочет спросить, что это за тайна, но робеет, к тому же надеется: Баярто и сам скажет, а раз не говорит – значит, не пришло время и надо подождать.

Старуха не знает, сколько лун опустилось за дальние горы, прежде чем она сделалась вот такую... слабою, когда и рукой-то не всякий раз пошевелишь, вялою, и в спине побаливает, и ноги к вечеру, после того как загонит овец в кошару, едва передвигает. А раньше была другою, и Баярто, когда не случалось камлания и он не прыгал через костер, звеня бубенчиками, а потом не падал на землю с искаженным от судорог лицом, говорил с улыбкою на иссиня-бледном лице:

– Добрая ты у меня жена, Сэпэлма! Красивая и сильная и много чего умеешь...

Баярто хорошо знал свое дело, и люди шли к нему; случалось, он помогал: отводил беду от юрты, отгонял злых духов...

Однажды пришел молодой буддийский монах, сильный, с большими загорелыми руками, в длинном, до пят, халате. Он тоже был белым человеком. Старуха слышала, что его совсем еще ребенком нашел в соседней деревне, в которой все померли от какой-то страшной болезни, старый кузнец, выходил, и мальчик еще долго жил в улусе, а потом его отправили в дацан.

Странно, человек, который нынче пришел к ней, показалось старухе, похож на того монаха. Но ведь это невозможно. Монаха заточили в темницу, она слышала от людей, и там он помер... Нет, нет, это ее Баярто, себя не обманешь. Тогда молодой монах просидел с Баярто до утра, она не все слышала из их разговора, находясь на женской половине юрты, но кое-что слышала; пришлось по душе, что Бальжийпин, так звали монаха, не одобрял решения лам расправиться с Баярто:

– Хамло-лама сказал, чтобы я сжег тебя в твоей юрте. Но я не хочу этого делать. Верю, все на земле должны жить, даже травинка, и никто не смеет нарушить этот закон. Я хочу просить: уходи в тайгу, там не найдут... Я тоже уйду из дацана и буду ходить по земле и лечить людей. Я не хочу находиться с теми, кто решил сломать вечный закон жизни.

Но Баярто не послушал:

– Нет, я останусь. Люди идут ко мне – значит, я нужен.

Монах ушел. Баярто долго сидел у очага, невеселые одолевали мысли, лицо побледнело, и глаза сделались печальными. А скоро люди перестали приходить в юрту. Баярто места себе не находил, пока не понял, что время его кончилось, пришло какое-то другое время. Но он не желал мириться с этим и пошел по улусам, говорил людям, чтоб не боялись встречаться с ним и оставались верны закону, по которому жили предки. Его схватили, привязали к сухому дереву... Жена стояла рядом и смотрела... Огонь медленно поднимался, и Баярто кричал, но кричал не от боли, она видела, от обиды, что люди изменили старой вере, а потом глаза его сделались и вовсе безумными, поняла, что это от великой душевной боли, которую муж носил в себе все последние годы, не умея понять людей, а еще того времени, что наступило. Но вот огонь разросся и заслонил от нее Баярто, она подумала, что уже не увидит его, как вдруг что-то случилось... огонь словно бы отодвинулся, и она разглядела привычное, со смятением в глазах, лицо мужа, услышала:

– Я еще вернусь, Сэпэлма. Вернусь...

Он сдержал слово, пришел, правда, слишком поздно, когда она стала старухой, он пришел в облике белого человека, и она (о боги!) не сразу узнала его и даже какое-то время сомневалась: он ли это?..

Старуха посмотрела на Бальжийпина, который по-прежнему стоял посреди юрты, сказала:

– У меня нету детей, и ты знаешь об этом, Баярто. Но ты остался в том возрасте... молодым, и ты станешь мне сыном. А теперь говори дальше, я слушаю. Я хочу знать, как ты шел по подземному царству Эрлик-хана и искал там тайну своего рождения, без чего нельзя вернуться на землю в облике человека. Я слушаю...

Бальжийпин понял, что старуха не в себе, и смутился, но потом подумал, что, может, он не прав и она как раз в себе, а то, что принимает его за другого, так не есть ли это желание снова

обрести хоть какой-то смысл в жизни, который, судя по всему, старуха давно уже потеряла?.. И поколебавшись, он не стал переубеждать ее.

Бальжийпин долго медлил, не зная, о чем говорить, но вот собрался с мыслями и начал говорить обо всем, что знал про подземное царство Эрлик-хана, а перед глазами стояло другое... недавнее... Тогда было... Шел по степи, дыша дивным воздухом Забайкалья. Никто не увязался следом, и это хорошо, не хотел бы никого видеть и ни с кем говорить. Он шел по степи, и большое солнце стояло в зените, лучи падали на землю, какие-то неестественно яркие, длинные, у него возникло чувство, что он не только кожей ощущает эти лучи, а еще и многое знает про них: к примеру, отчего лучи длинные и яркие, конечно же оттого, что стремятся как-то скрасить жизнь людей на суровой земле. Бальжийпин с малых лет любил одушевлять все, что окружало, помнится, и отчая юрта долгое время казалась доброй и славной тетушкой, мог подолгу говорить с нею и, что самое удивительное, юрта отвечала и радовалась вместе с ним, и огорчалась... Вот и теперь Бальжийпин говорил с солнечными лучами и по тихому дрожанию света, по тому, как, упав на зеленовато-бледные узкие травинки, лучи взблескивают, перемигиваются и словно бы едва слышно щебечут, подумал, что они понимают и что-то хотят ответить... Он бродил по степи до самого вечера, и все-то вокруг было дивно, и тревога вроде бы отступила; во всяком случае, и дышалось легко, и мечталось о разном, что уже давненько не приходило в голову, может статься, с юных лет еще, когда так много думал про себя и надеялся... Скупа на краски Селенгинская степь, а все ж ввечеру и она загорается, и тысячи самых различных соцветий, оттолкнувшись от уходящего за дальние гольцы и уже сделавшегося розовато-круглым солнца, растекаются по долине, смешиваются с теми бледно-зеленоватыми красками, на которые нынче щедра земля, а смешавшись, делаются еще ярче, еще пронзительнее, и хочется плакать, глядя вокруг, и смеяться, и на сердце дивное, светлое, мудрое, вот, кажется, все узнал про жизнь, и увиделась она такую, что сроду не покинешь ее и будешь жить вечно... Бальжийпин уже и не шел по степи, а бежал; там, вдали, промелькнуло еще что-то, дивнее дивного, и он спешил, словно боялся не успеть ощутить и ту радость, которая впереди... Он не заметил, как очутился у дымных войлочных юрт, промеж которых лениво бродили темношерстные собаки, а в тени, на желтой унавоженной земле, лежали длиннорогие коровы. И в первую минуту растерялся, а может, смутился, увидев как из-под земли возникшие юрты, этих неторопливых собак, неподвижных коров.

Из ближней юрты вышел сухощавый, лет шестидесяти, в светлом халате человек. С минуту близоруко разглядывал Бальжийпина, а потом узнал его, и черты лица, смуглого и длинного, смягчились и уж не казались суровыми. Приблизился к Бальжийпину, сказал:

– Заходи в юрту, Бальжийпин. – Помедлив, добавил: – Мефошка там... Большой нынче человек сделался, железную дорогу строит. А я знал его совсем молодым, когда он был слабый и бедный (отец ничего не давал ему) и я жалел его, помогал маленько...

Бальжийпин запахнул на груди халат и зашел в юрту.

– А, монах! – воскликнул Студенников и предложил Бальжийпину сесть на белый войлок рядом с собою, с правой стороны очага, в котором дымилась большая черная головня. Хозяин юрты и маленькая женщина, оба они, сложив на груди руки, стояли рядом и почтительно кланялись, и глаза у них светились откровенной благодарностью. И если бы гости не знали, могли принять это за лесть и подумать, что хозяевам что-то нужно от них. Но они знали, что в бурятской юрте во всякую пору дня и ночи рады гостю.

Бальжийпин опустил на белый войлок, предназначенный для почетных гостей, скоро подле него оказался меднобокий чайник с чашкою, пресные лепешки. Помедлил, разглядывая чайник, плеснул в чашку... Бальжийпин с легкой усмешкою наблюдал за Студенниковым, и тому это пришлось не по нраву, спросил с досадою в голосе:

– Чё разглядываешь меня?!

Бальжийпин вроде бы смутился, лицо порозовело, но скоро овладел собою, сказал:

– Отдыхаете после трудов праведных?

– Отдыхаю, – буркнул Студенников.

– А тем, кто живет в Прибайкалье, нынче худо, – сказал Бальжийпин, – и бурятам, и русским, всем худо... Гоните людей едва ль не силком на железку, задавили уроками, лошадей поотнимали...

– За все плочено... плочено мною и царем-батюшкой...

Но Бальжийпин словно бы не услышал, продолжал говорить ровным, бесстрастным голосом, и непонятно было, как он сам относится к тому, что происходит нынче в Прибайкалье. И Студенников не удержался, спросил, но тот увел разговор в сторону и сделал это с истинно восточною деликатностью, так что Мефодий Игнатьевич не сразу и догадался, что произошло и отчего он теперь слушает о другом.

Студенников вздохнул, налил в чашку еще чаю, отпил, усилием воли заставил себя слушать Бальжийпина, а тот уже говорил о Цаганской степи, там жили его родные и близкие, но теперь в тех местах никто не живет, море пришло туда, улусы оказались на дне, а вместе с домами и юртами, разрушенными сажеными волнами, море унесло веру людей в добро, а это плохо: когда человек перестает верить в добро, он делается слабым и безвольным, и горе людское уже не трогает, он и на себя смотрит как бы чужими, бесстрастными глазами и ничего не сделает, чтобы жить лучше.

Студенников не сразу понял, зачем Бальжийпин говорит об этом, и, лишь когда тот сказал о царской милости, отпущенной его родичам, которой едва хватило, чтобы прокормиться неделю, понял, и ему стало не по себе... Было б лучше, если бы теперь он встал и ушел, но что-то удерживало... Смотрел на Бальжийпина, а еще больше на его одеяние, и мысли в голове ворочались какие-то ленивые, вялые. Не сразу понял, чем его так заинтересовало одеяние на Бальжийпине, и все же в конце концов, ощущая в теле сильную усталость, непонятно откуда свалившуюся, выпарапал едва ль не из самых дальних глубин мозга убеждение, что Бальжийпин нынче не очень-то похож на обычных буддийских монахов, которым, в сущности, ни до чего в жизни нету дела. Дождался, когда Бальжийпин замолчал, сказал об этом и был немало удивлен, когда в лице у собеседника что-то дрогнуло, и тонкие, прежде почти невидимые морщинки на лбу сделались глубже, отчетливее, и руки стали беспокойными, дрогнула чашка, и чай, расплескавшись, пролился.

Не скоро еще Бальжийпин справился с собою, а справившись, негромко сказал:

– Да, вы знаете, я был буддийским монахом, но уж давно ушел из храма. – Он смущенно развел руками. – Поверите ли, не во что переодеться, а брать у людей, которые и так делают для тебя немало, – не в моих правилах. – Посмотрел на Студенникова внимательно и строго, словно бы оценивая, и от этого взгляда тому стало неуютно, подумал: зачем я полез со своею догадкою, может, она неприятна человеку и тот не хотел бы, чтобы лишний раз напоминали о прошлом?.. Он подумал и вздрогнул, когда Бальжийпин сказал:

– Разумеется, неприятно, но раз уж вы догадались, я постараюсь рассказать, что случилось со мною.

С первых же слов бродячего монаха Студенников, и сам не желая этого, принял его сторону, он мысленно видел бурятский улус, зажатый в узкой, едва ли не с ладонь, долине высокими скалами, на вершинах которых и в летнюю пору не стаивает снег; видел шамана, доброго и мудрого, несмотря на молодость, и по этой причине пришедшегося не по нраву служителям дацана. И ему тоже сделалось неприятно, когда ламы вынесли на большом совете жестокое решение и пришли к молодому монаху, избрав его для исполнения своей воли:

«Ты должен сделать это – и тогда спасешь души многих людей для добрых дел».

«Разве учение Будды не противно насилию? – с недоумением сказал молодой монах, он читал священные книги и научился толковать их по-своему, то есть так – и он был убежден в этом, – как там написано, а вовсе не так, как пытались делать люди нечестные, обращаясь к

ним. – Нет, я не подыму руку на человека, даже если он не желает жить по нашим законам. Я могу постараться убедить, но убивать – нет...»

Он еще о многом говорил, молодой монах, и те, кто пришел к нему, не перебивали, слушали, а потом оставили одного. Он думал, что сумел убедить их, и был доволен собою и своей ученостью, но ночью к нему снова пришли и заточили в самую дальнюю башню дацана, про которую слышал немало страшного, но не мог поверить в то, что слышал. И вот сам оказался в ней. К счастью, ненадолго. Те из служителей, кто имел доступ в башню, в спешке оставили двери ее открытыми, и ночью он вышел из башни и бежал...

– А шамана все же сожгли... Привязали к дереву и сожгли, – вздохнув, сказал Бальжийпин. – И жену его прогнали из улуса, она долго бродила по земле и просила милостыню. Тогда я и повстречал ее, худую и страшную, накормил, привел на берег Байкала. Там она теперь и живет, в юрте, которую я поставил. Я не люблю служителей черной веры, среди них немало злых людей, но в этом шамане было такое, что притягивало. Улус, где жил шаман, буряты назвали Шаманкиным, и как ламы ни стараются, ничего не могут с этим поделать. Долгая оказалась память о том человеке...

Студенников разволновался, в воображении вставали картины, одна страшнее другой, и виделся человек, при встрече с которым он наверняка не обратил бы на него внимания, а если бы даже и нашел в нем нечто примечательное, скорее лишь то, что касалось его занятий, а потом забыл бы об этом, как чаще всего и делал.

– Человек создан для того, чтобы жить, – сказал Бальжийпин. – Зверь – для того, чтобы добывать себе пищу, малая травка – для того, чтобы расти... И никто не имеет права нарушать этот закон жизни.

– Но ведь нарушают, призывая в помощь насилие.

– Это верно. И я не знаю, настанет ли время, когда человек поймет, что самое лучшее в нем есть доброта и он должен подчиняться ей и делать так, как велит она.

– Доброта? Да что же она такое, эта самая доброта, и кому нужна она?.. – с досадой сказал Студенников. – Сама по себе она пустое, если нету рядом с нею силы...

– Я так не думаю, – сказал Бальжийпин, помолчал, потом добавил: – Мне надо идти. – Скрылся за пологом. А Студенников еще долго сидел в юрте, и смущение было в лице у него, и растерянность, и все это было так не похоже на него, что он засомневался: с ним ли это происходит или с кем-то еще?..

...Старуха поднялась со своего места, вышла из юрты, маленькая, сторбленная, вернулась с охапкою сухих веток, разожгла очаг, налила в чайник воды, придвинула к огню.

Вскипятила чайник, молча, вялым движением худой, с тонкой морщинистой кожей, руки подвинула Бальжийпину чашку с чаем, сушеные пенки в мелкой, с ярким рисунком по ободку, тарелке. Но Бальжийпин к еде не притронулся, заговорил о том, что теперь стояло перед глазами, а перед глазами стояло дерево, к которому был привязан человек. И он не был растерян и спокойно дожидался смерти.

– Как Баярто, – сказала старуха.

Бальжийпин чувствовал, что, если бы и дальше держал это при себе, случилось бы неладное, мозг не выдержал бы и сердце тоже...

Бальжийпин говорил, и старуха внимательно наблюдала за ним и, кажется, понимала, почему в его лице мука такая... И она хотела бы успокоить и сказать:

– Ничего, Баярто, не огорчайся, что, даже проникнув в подземное царство Эрлик-хана, ты узнал не всю тайну. Ничего... Тебе удастся это сделать в другой раз. Ты, наверное, не станешь долго находиться в юрте старого человека и уйдешь. А жаль. Я думала, ты будешь мне сыном, но теперь вижу, ошиблась, тебя гнетет тайна, которую ты должен раскрыть, чтобы помочь людям. Ты всегда так много думал о людях и почти никогда о себе... И я, помню, обижалась, хотя и не показывала виду, бурятские женщины все носят в себе, не открывая даже

мужу... Я обижалась, но скоро поняла: зря... Тебя не изменишь. Ты и в облике белого человека остался прежним.

А потом старуха снова слушала Бальжийпина, который говорил о своей душевной боли, о том, что не поймет, отчего люди бывают так жестоки, словно бы нету в них бога, и его тревога постепенно передавалась ей, и, когда лицо у него делалось особенно напряженным и возле губ проступала матовая бледность, она неслышно подносила руки к глазам и шептала:

– О бурхан!..

Но вот Бальжийпин замолчал, опустил голову, задумавшись, старуха не потревожила его и малым словом, ждала, когда он снова посмотрит на нее, и уж потом сказала негромко:

– Пей чай, я приготовлю постель...

Поднялась, прошла в дальний угол юрты, развернула постель, взяла в руки подушку, чтобы взбить...

Бальжийпин не понял, о чем сказала старуха, и все же взял в руки чашку, отпил из нее.

## Глава 5

Христю Киша и Филимона Лохова определили в артель, которая вела просеку близ Байкала, в сорока верстах от рабочего поселка. Они не знали, что им предстоит делать, да и не думали об этом, довольные тем, что так счастливо все обошлось. Правду сказать, и не надеялись благополучно выйти из передрыги. Однако ж вышли, и теперь никто из них не хотел вспоминать, что перечувствовал, когда приблизились к дому сибирского промышленника, ведя под руки голого мужика. И храбр Христя и своеволен, а, увидев на высоком, ладно пригнанном – и щербинки не заметишь – крыльце с чудными расписными узорами на боковых, просмоленных стенках бравого жандармского ротмистра в белых перчатках, заробел, замедлил шаг, мысленно на все лады ругая проклятое крапивное семя, которое в великом множестве расплодилось на русской земле. А уж что до Филимона, у того и вовсе ноги сделались деревянные, и не помнил, как дошел до крыльца, очнулся, когда подле ротмистра оказался кто-то еще, большой, и, по всему чувствуется, сильный, и не злой вроде бы, спросил о чем-то... Киш сделал шаг вперед, ответил... Лохов не разобрал слов, а все ж уловил, что не было в голосе у сотоварища привычной насмешливости, погрузнел голос, поскутнел...

– А хозяин ничё... – уже потом говорил Христя, и Филимон слушал и дивился, и не только решению подрядчика, про которое узнал позже, а еще и тому, что открылось глазам, когда вышли из поселка и очутились в гавани: высоченная каменная дамба была выдвинута далеко в море, и как держится, не потонет, а чуть в стороне от дамбы, защищенной со стороны моря ряжевными стенками, находилась широкая ровная площадка – пристань, и была пристань зажата двумя высокими молами, рассеченными наподобие вилки и выдвинутыми далеко в открытое море. Около молов, на дальних выбросах которых в вечернем сумерке сияли сигнальные портовые огни, покачивался на волнах огромный ледокол.

– Дивы-то! Дивы!..

За этими словами не стояло ни восторга, ни восхищения, а лишь удивление и робость. И она была не меньше той, которую испытал при встрече с жандармским ротмистром. С малых лет привыкший к простоте и ясности всего, что окружало, Лохов терялся, когда сталкивался с чем-то иным. Впрочем, к этому иному относился по-разному, могло и понравиться, но чаще оставался равнодушным, говоря:

– И чё токо не придумают люди? И главное дело, на што?..

Но в любом случае полюбить это иное не умел и сердился на тех, в ком чувствовал восторг и радость, и недоумевал, с тоскою вспоминая отчую деревню с милыми сердцу задворьями, на которых росла высокая кустистая крапива.

Но то, что увидел на берегу древнего сибирского моря, было много удивительнее всего, что знал, непонятнее:

– Дивы-то! Дивы!..

Он повторял эти слова до тех пор, пока не отошли от Байкала и не углубились в тайгу, держась узкой каменистой тропки. Густые кроны деревьев смыкались над головою, и тропка едва проглядывала, ухали, перекликаясь, таежные птицы и натренькивал свиристель. Все это помнилось с малых лет и успокаивало. А когда оказались на полянке, прилепившейся краешком, густо заросшим зеленотелым ивняком, к быстрой горной речке, и вовсе хорошо сделалось.

– А в тот год мы с батяней взяли на монастырских полях с чети по чердаку ржи, и маманя была довольна, сказала: даст бог, служители не обидят – и проживем зимушку...

Христя посмотрел на него с усмешкою, но промолчал. Зато тот, третий, прозваньем Сафьян Крашенинников, в красной рубахе навыпуск и в серых, стершихся на коленях шароварах да в броднях, на правый глаз кривой – левый-то все подмигивает, подмигивает, а правый не шевельнется даже, – заговорил торопливо, однако ж с тем внутренним достоинством

в хрипловатом голосе, которое и после маеты, принятой им, не истаяло и которого сам Лохов был лишен совершенно, о девяносто седьмом годе, то есть о том самом, какой имел в виду и Филимон. Тогда в Забайкалье случилось наводнение, Селенга вышла из берегов и уничтожила урожай хлебов.

«Ишь ты, угадливый», – не без одобрения подумал Лохов, но еще приятнее стало, когда Крашенинников сказал о городке Дородинске, поднявшемся при государыне императрице Екатерине II.

– Так теперь нету городка, смыло, разрушило окаянной водою, и домика живого не сыщешь на том месте. Ездил недавно, глядел... Нету! И детишек моих нету, и женушки. Сгибли. А сам-то я с чего бы живой остался? В тайгу пошел промышлять... Когда ж вернулся...

Лохов слушал и со все большим участием кивал головою, но это было вызвано не тем, что Сафьян исстрадался, измаялся – кого нынче этим удивить? – а тем, что Крашенинников, получается, сибиряк, а Лохов про него думал, что из Расеи... с-под помещика... лапотник! Оттого и скрутили, и привязали к дереву на съедение муравьям.

Филимон не был исключением из общего ряда коренных жителей Сибири и с великою опаскою и недоверием, а то и с откровенным небрежением относился к пришлым, полагая их людьми никудышными и слабыми, от которых одна морока. Случалось, хаживал в соседнюю деревню, где жили те: чистое голые, в избушках, поставленных неумело, на скорую руку, и корку хлеба не всякий раз увидишь, – и чего только там не вытворял об руку с дружками-приятелями, бросая косые взгляды на худородные, даже в самые урожайные годы, сразу же за деревнею неярко чернеющие поля.

– Дурной был год, – сказал Филимон. – Многие, слышать, в округе перемерли. И у нас в деревне то ж... Под монастырем наши земли, ближе к горам. Монахи баяли: бог не обидит слугителей, дарует им благо. Здря баяли...

Присели передохнуть у быстрой горной речки, дальше отпала надобность идти в гору, минуя увалы и распадки. Сафьян вытащил из переметной сумы кусок ржаного хлеба, разломил, подал сотоварищам по ломтю:

– Подкрепимся, братцы!..

Съели торопливо, запили холодной, в зубах аж заныло, водою, прилегли в теплую осожную траву. Смеркалось. Звезды проступили красные, и была одна из них, маленькая, с острыми, словно бы обломанными краями, всего ближе к ним, и Христя смотрел на нее, и доброе виделось, ясное. Будто-де стоит подняться и пойти дальше, как на душе делается легко и весело, только не подымешься, сил не осталось, вялость в теле... Вот и лежал на спине и смотрел в небо и видел ту звезду. Пацаном, случалось, битый-перебитый, в рваной курмушке с чужого плеча, надетой на голое тело, вдруг да и остановится посреди улицы, глянет вверх и застынет... Чудное всякий раз зрелось в дальней вышине, жизнь какая-то и не маетная вовсе, и люди не злые, всем сердцем тянулся он в ту даль, где плавали в теплой бледной синеве, как жиринки в молоке, желтые звезды. Порою срывался с места и долго, задыхаясь, бежал... А очутившись на городской окраине, прислонился к чужому забору и, плача, смотрел на недосыгаемую звезду.

Мысли в голове ворочались тоже вялые, и не сразу скажешь, о чем они... Христя закрыл глаза и долго лежал так, но вот поднял голову, дотронулся рукою до Крашенинникова.

– Чего?.. – спросил Сафьян с неудовольствием. Видать, и его разморило.

– Помнится, ты говорил о каком-то городке...

– О Дородинске. Оттуда я родом.

Дородинск... Матушка там похоронена. Все собирался съездить туда, отыскать на старом городском кладбище у лысой горы матушкину могилу, прибраться, небось заросла полынь-травой. Однако ж так и не съездил.

Больно сжал пальцами плечо Крашенинникова:

– А что, городок снесло?

Странно, он с самого начала знал, о чем сказывал Сафьян, но чувства словно бы отупели и не хотели воспринимать ничего, что было бы неприятно, и только теперь, отмякнув, вспомнил про те слова...

– А у меня там матушка похоронена. И я в Дородинске жил мальцом еще, тянул нужду... Потом сбежал, очутился в Верхнеудинске, славен город, да места в нем не нашлось для меня. Подался на Север...

Слова были тусклые, слабые, совсем не о том, что на сердце. А на сердце неуютно и горько, вина какая-то перед матерью пришла неожиданно-негаданно и уж не отпустит, и про чувство светлое, которое испытал, подавшись с Баргузинского прииска, не вспомнит даже.

Приисковые порядки  
Для одних хозяев сладки,  
А для нас беда.  
Как исправник с ревизором  
По тайге пройдут с дозором —  
Ну, смотри тогда!..  
Один спяну, другой сдуру  
Так отлупят тебе шкуру,  
Что токо держись!..

– Ну, чего заскулил?..

Христя посмотрел на Лохова и не сразу догадался, что это он сам тихонько запел грустную приисковую песню. Стало досадно, поднялся с земли:

– Ну, мужики, двинули!

Пошли. Сафьян впереди, тайга знакома ему, не раз хаживал ее тропами, и на мыске близ Байкала, где нынче ведут просеку, тоже бывал. Легко Сафьяну с сотоварищами, по нраву ему Киш, отчаянный и души, видать, доброй, не поопасся, подбежал к дереву, развязал, а потом привел к самому хозяину и говорил с ним. Сафьян ни за какие посулы не осмелился бы рта раскрыть при подрядчике. Впрочем, и он слышал, что Студенников, хошь и строг, без пути не обидит, однако ж привык: не всякому слову верь, особенно про сильного мира сего...

Жил Сафьян раньше на вольной волюшке, когда сам себе хозяин, в деле, пожалте, проверяйте, все без обману, а когда дело слажено, уж увольте от всяких дряг-передряг, что хочу, то и верчу. Мое время... Так, думал, будет и на новом месте, куда пришел не по нужде – по печали. Все осиротевшие из Дородинска подались на железку, и он тоже... Что делать-то, где горе мыкать?.. С малых лет знал: в работе найдешь успокоение и не станет маетно на сердце, когда охота зубами грызть землю и выть волком. Девчоночка у него была, восьми годов от роду, русоголовая, большеглазая, «тятенька, тятенька, возьми меня на ручки, ты уж ух скоко не брал!..» Души не чаял в девчоночке, замешивает ли на кирпичном заводе глину, бредет ли усталый по прибитой пылью городской мостовой, а мысли все про нее, и радость такая... бог мой!.. Вот приду домой, а она навстречу: тятенька, тятенька!.. И от этих мыслей спокойно на душе делается, да нет, пожалуй, щемяще спокойно, хрупкость какая-то во всем чувствовалась, недолговечность, ловил себя на мысли: а что если?.. И страшно становилось, и больно, бежал домой, брал девчоночку на руки и долго стоял так, тяжело, с присвистом дыша, а потом, когда в груди отпусало, говорил негромко:

– А что с нами сдеется? Станем жить долго. Иль не правый я?

Видать, был не правый, коль случилось несчастье, свет померк в глазах, и жизнь показала невыносимую. Уехал. Но и в чужих краях не сыскал покоя, и уж не только ночью, а днем вдруг увидится белое и какое-то удивительно тонкое, как простынка, облачко, все ниже

облачко, ниже, а скоро уж и не облачко вовсе, девчоночка милая, и тянет к нему ручонки, просит:

– Тятенька, тятенька, возьми меня...

Вот в такую-то пору, когда на душе горько, а перед глазами наваждение, милое сердцу, шел Сафьян по рабочему поселку и повстречал стражника Назарыча и не узнал его, потому ли, что тот на железке всего ничего, по другой ли какой причине, и уж прошел было мимо, да стражник догнал, остановил, сказал что-то зло. Это не понравилось Сафьяну. «Ты чего?!» – крикнул, а потом схватил Назарыча за грудки, ударил в большое, изжелта-серое, с темными мушинными крапинами лицо. Стражник растерялся, но скоро опомнился, дюжей оказался, крепче Крашенинникова, заломил ему руки за спину, связал красным кушаком.

– Баловать? Шалишь!

И только услышав эти слова, Сафьян очнулся и разглядел стражника.

– Ну и чё теперь делать? – спросил тот.

Сафьян не ответил.

Назарыч словно бы с неохотой предложил пойти в контору за расчетом:

– Непорядок, коль каждый станет бить в морду. Однако же гнать тебя надо со стройки.

Крашенинников подумал, что это плохо: опять придется искать работу, а делать этого не хочется, ничего-то не хочется. Сказал:

– Нельзя ль по-другому? Ну, накажи, раз так...

Стражник словно бы обрадовался, заговорил о приiske, где раньше служил и где благодаря его стараниям во всякую пору был порядок. Взял Сафьяна за плечо, слегка подтолкнул:

– Двигай за мною.

Пошли в тайгу, вскорости оказались подле того дерева, стражник оглядел его снизу доверху и остался доволен. Велел Крашенинникову раздеться:

– Донага, донага, чего уж там!..

Сафьян скинул с себя одежку, встал к дереву. Он мало что соображал, был как во сне, вроде бы что-то делал, но зачем, для чего? – не знал. Назарыч умело привязал его к дереву, отошел чуть в сторону, поглядел, сказал негромко:

– Порядок есть порядок, по-другому нельзя. Потерпи. – С тем и ушел.

Сафьян остался один, очень скоро у него затекли ноги, хотел переставить их и не смог: уж больно ловко, и не пошевелишься, был привязан. «Умеет, зараза!..» – подумал и тут же оставил попытки что-либо изменить. По телу ползли муравьи, сначала как будто приглядываясь, прилавчивались, а уж потом... Боль обожгла острая, из горла рвался хриплый крик, усмехался искривленным ртом:

– Тебе больно, да? Больно?..

Он словно бы со стороны наблюдал за собой и дивился:

– А ты, оказывается, ничего мужик, и тебя не сразу сломаешь.

Он, кажется, испытывал чувство удовлетворенности от того, что умеет терпеть. Но, может, и не так вовсе, и это было другое чувство, шло как бы со стороны, доброе и сильное, и примиряло с болью, которая в душе.

– И ладно. Значит, так и надо.

К тому моменту, когда пришли те двое, он уже смирился с муками, в чем-то даже находил их справедливыми, словно бы они давали возможность сравниться со страданием, которое выпало на долю дочери. Он конечно же не думал об этом, а все ж смутно сознавал, что, лишь испытав муки, сможет найти успокоение. И он не обрадовался, когда пришли те двое, но ничего не сказал, а потом послушно поплелся с ними в рабочий поселок. Там он впервые увидел подрядчика и был удивлен, как с ним разговаривал Христя. Но удивление держалось недолго, растаяло, он вдруг решил, что так и надо и ничего в этом нет особенного; скорее, Киш

привык вести себя независимо даже с сильными мира сего. И эта мелькнувшая в голове мысль заставила с уважением посмотреть на человека, который стоял подле него...

Легко Сафьяну с сотоварищами, так легко, как уже давно не было, и он сам не знает, чему приписать такое. Может, тому, что впервые сказал о своей боли и его выслушали, не перебили? А может, как раз не этому, – пуще всего Сафьян не хотел бы, чтоб его жалели, – другому чему-то, к примеру, тому, чтобы оба его нынешних товарища больше всего думали о деле, которое ожидало, и опасались и надеялись на лучшее, испытывали те же самые чувства, которые наверняка теснились бы в сердце, если бы не боль, что подчас делается меньше, а все ж не оставит...

Он смотрел на сотоварищей и искренне желал, чтобы у них все сладилось, и это было чудно, раньше понятия не имел, что можно так относиться к людям. Если даже доводилось сблизиться с кем-то, быстро забывал об этом. Он и жене, случалось, говорил, что по-другому нельзя, сломаешься... Это свое убеждение он пронес через долгие годы, и когда встречались люди, которые словно бы потеряли себя и уж не могли обрести душевного покоя, с жалостью смотрел на них. Но и только-то... А нынче это убеждение поколебалось, и он не испытывал огорчения, а даже, наоборот, был доволен, что так случилось. Сафьян смотрел на Филимона и его находил приятным человеком, хотя видел, что Лохов неумеренно радуется тому, как все ладно сложилось; сам он умел сдерживать себя даже в пору большой радости. «Ну и пускай! – думал. – Небось нечасто сталкивался с нею... Пускай!» Великодушен нынче Сафьян, и сам не поймет, откуда в нем такое, и ему стоит немало усилий, чтобы не расплескать, не растерять того, что зреет в нем.

Пришли на казенную дачу Иркутской губернии. Она растянулась на многие версты подле Байкала. Здесь работала артель рядчика Ознобишина Петра Иннокентьевича. Артель расчищала валежник и корчевала пни, жгла костры, чтобы осушить верхний слой почвы. А рядчик сидел на толстом пне с бумагами в руках, перебирал их, шурясь, нашептывал что-то... Был рядчик краснокож и крепок, с длинною рыжею бородою, возился с бумагами лениво, на новеньких взглянул не сразу. Но потом маленькие глаза сделались и вовсе щелочками, нижняя губа обмякла, опала, поднялся с пня, засунул бумаги за поддевку, надетую на яркую цветную рубаху, подался вперед, вытянув шею:

– Филька, ты?..

Лохов словно бы язык проглотил; слова из себя не вытянет, нету таких клещей... Лицо сделалось бледное, руки трясутся. Исчезло то недавнее, доброе... Одно в голове – бежать!.. А ноги ватные, чужие, шагу не ступишь, и Филимон стоял, словно бы привязанный к месту. С малых лет привык бояться этого человека, во всякую пору хмурого и недовольного, и батяня обходил его стороной, и другие мужики на деревне тоже... Староста не из тех, кто по пустячному поводу в мир идет: «Пособите, люди!» Он из тех, кто миром правит. Силен Ознобишин Петр Иннокентьевич, к нему и монастырские служки ходят с поклоном:

– Не своевольничай, батюшка, побойся бога!..

Слышать, и недобрыми делами промышлял деревенский староста: на старых заимках у него жили беглые людишки, каторжные, кормил их, в работу впрягал, от людей прятал. Мало ли что?.. А уж куда они потом девались, одному богу известно. Но, сказывают, немногие каторжные вернулись на родину, одних излавливали сразу же, как только уходили, другие и вовсе исчезали бесследно: подле заимок Ознобишина Петра Иннокентьевича земля мягкая, податливая, с малой силой управишься, а уж с тою, которая в деревенском старосте, и подавно.

Много чего сказывали, а чтоб дознаться, на чистую воду вывести – попробуй-ка!.. Впрочем... Жил на деревне мужичок, крестами да ранами в Севастопольскую кампанию меченный, в годах, а все одинок, дерзок, нипочем ему староста, тот – слово, он – два, и сходило с рук, человек на миру видный, больно-то не поперешь супротив. Однако ж вдруг осенило старого солдата: дознаюсь про темные делишки старосты, ей-пра!.. Забыл про все, сутками не слазит

с гнедка, в лице сошел, зато вскорости радость в глазах появилась, тихая, мерклая. Видать, дознался-таки. Но сказать не успел... Нашли солдата на таежной тропе, мертвого, не то медведь поломал, не то дюжей человек...

Стоял староста перед Филимоном Лоховым, смотрел в глаза строго:

– Филька, ты?..

– А-га... а-га...

– Чего трясешься? – спросил Христа. – Иль дурной знакомец?

Филимон не ответил. Рядчик помедлил, начал говорить про Лохова, про его матушку, которая померла прошлой зимою, пошла на дальнее, за выгоном, поле, где в свое время вместе с сыночком извела мужа, да там и замерзла... Видать, господь бог прибрал беспамятную.

И еще про разное-прочее сказал Ознобишин Петр Иннокентьевич, и про то сказал, как искали Фильку, чтоб снять показания, да где найдешь: Сибирь велика, за каждым деревцем – дом, бросили искать... А под Покров слух по деревне разнесся: видели-де охотники в тайге человека, обличьем схожего с Филькою, предали земле...

– А оказывается, ты живой!..

Глаза у рядчика дурные, так и сверлят, уж на что Киш не робкого десятка, а и он не сразу совладал с собою, обернулся к Лохову, спросил:

– Дак ты?..

– Не-ет! Не-ет!.. Не убивал я!..

Филимон смятенно смотрел по сторонам и кричал, была в его крике тоска, холодная, давящая, а еще жалость к себе. Думал, все неладное позади и начнет работать, чтоб при деньгах вернуться в деревню. А получается...

– Мне-то чё! – сказал Ознобишин. – Дело прошлое, и никому не дано знать про то.

Крик оборвался.

– Ну и ладно, – вздохнул Христа. – Ставь, рядчик, к делу...

– Завтра поставлю, а нынче идите в балаган, там все артельные.

В балагане человек десять, сидели у костра, дым тянулся в узкую, меж еловых веток, продушину.

– Мир вам, добрые люди! – нарочито весело сказал Киш.

Ему не ответили. Хмурясь, продолжали черпать хлебово из котла деревянными ложками.

У Христа засосало под ложечкой, у сотоварищей тоже, но подсесть к костерку неудобно. Было бы это в старательской артели, там не раздумывал бы, а тут... бог знает, что тут за люди? Но сказал тот, по центру, худой и жилистый:

– Айда к нам... Иль не голодны?

– С утра не жрамши! – воскликнул Киш.

Переглянулись артельные – и вроде бы не такие уж хмурые, ложки нашлись: ешь не хочу... Христю просить не надо, и Сафьяна тоже. А вот Филимон, кажется, еще не пришел в себя, в глазах у него удивление и досада, к еде разве что притронется, а уж поесть по-артельному не в состоянии, думал с обидою: «И впрямь тесен мир! Кто б мог знать, что встречу старосту на железке? О разном думал, а пуще о том, что невезучий он и здесь, видать, не будет ему жизни. Что же делать? Опять податься в бега? Благо теперь и проходное свидетельство при себе, расстарался подрядчик, дай бог ему здоровья!.. А при свидетельстве и жандармский пост не тронет, гуляй, выискивай место потороватее, как ходак из Расеи, беленький, с мордашкою лисьей, встретились с ним в железнодорожной конторе, спрашивал у писарька: „А сколь кладут на день?..“ А чего он знает? Служка... Однако ж сказал: „Рупь...“ Мужичок задумался: „Рупь, стало быть? А цена нынче пуду ржаной муки – рупь пятнадцать и овсу – рупь... Стоит ли сманывать мужиков на такое довольствие?“».

Только вспомнил о ходаке, а он тут как тут, стоит у входа в шалаш. Не поверил себе: ходак ли?.. Протер ладонью глаза, словно бы отгоняя наваждение. Все зря. И впрямь, ходак... Зашел в шалаш, поклонился в пояс:

– Здравы будьте, хозяевы!

А хозяевы лишь посмотрели на ходака:

– Тоже к нам, в артельные?..

– Да нет, поглядеть пришел. Как тут?..

Артельные вздохнули с облегчением: не больно-то наработаешь на просеке с малою силою.

Ходак шустер на язык, памятливый: сразу признал Христю, Сафьяна и его, Филимона. И хлебово ему пришлось по вкусу: отродясь не видал слаще... Сидел у костерка, сказывал про Гусиное озеро, там дацан на глубине видел, свесишься через лодочный край, глядишь в воду и зришь... Дивный дацан, весь в серебре и злате, и делается оттого кружение, и еще видно, как служители бродят меж дворигов, хочется позвать их и сказать им доброе, а не скажешь, нет... Уж погода узнал: когда глядишь в воду, словно бы власть теряешь над словом. Но старатели удачливые пришли к берегу, сели в лодку... Пьяней вина, кричат разное, тревожат покой озера, а скоро напротив того места оказались, где дацан. И вдруг словно бы раздвинулось озеро, и ямина меж волн появилась, и полетели туда старатели вместе с лодкою. Теперь никто не скажет, были, нет ли такие люди на земле.

– Дивный край Сибирский, – помедлив, продолжал ходак. – Рискватый. Без душевной лихости в ем не прожить.

Христя глянул на него с интересом: ишь ты, всего ничего на здешней земле, а понял... Про то, о чем сказывал ходак, слышал и он. В прошлом веке Гусиное озеро рассекал перешеек, шла по нему дорога, звали ее «чайною», стоял там еще дацан, подле него жили люди и не знали, что уж зависла беда над их головами. И вдруг... Посреди ночи случилось землетрясение, обрушился перешеек в воду, а вместе с ним и дацан. Сказывают, потому и оказался под водою дацан, что служители забыли заветы Великого, не по совести жили – по корысти, прогневили бога. Так ли, нет ли, только посреди ночи, когда плывешь по озеру в лодке, вдруг услышишь заунывное пение и струнный звук морин-хура. То древний старец, сказывают, и на илистом дне не обретший покоя, силится поведать людям печальную историю.

– А еще, братья, – отложив в сторону ложку, сказал ходак, – был я в верховьях речки, Темником прозывается. Почему Темником? Да потому, что в свое время там похоронили монгольского воина, он тысячью командовал. Большой воин. В честь него и речка так прозывается.

Послушал Христя, послушал, и на сердце горячо сделалось, захотелось в места чудные, куда не хаживал еще. Давнее и знакомое чувство, сколько раз ловил себя на мысли, что скучно ему среди людей, хочется дальнего и светлого, и томится тогда, и мается... Вот и нынче тож... Будто бы идет он следом за ходаком по берегу горной речки, раздвигает колючие облепиховые ветки, тяжело ему, и на сердце робость, места глухие, незнакомые и на сотню верст ни души, случись что, не докричишься людей, сгинешь... И все ж идет, а тут видит на самой середине речки блестящий камень, и на камне след человеческий, словно бы шел кто-то и наступил на камень, придавил... Вода в той ступне. Забавно, солнце печет нещадно, а вода в ступне не убывает. Отчего бы?.. Скинул штаны, забрел в речку, а очутившись подле камня, вычерпал воду ладошкою. Только собрался уходить, вода опять появилась. Досадую, снова вычерпал воду, но малость спустя случилось то же самое. Непокойно стало, неуютно. Вспомнил сказку про клад монгольского воина: будто-де велел он, смертельно раненный, похоронить себя близ горной речки, а все сокровища спрятать на дне, у серого камня. Так и сделали слуги и хотели уйти, но вдруг начали у них каменеть руки и ноги, и уж не сдвинуться...

По сию пору стоят на берегу каменные идолы, глядят мертвыми незрячими глазами. И те, кто осмелился прийти позже, чтоб найти клад, тоже превратились в каменных идолов. Так

сказывают старики. Однако ж была б его воля, переступил бы Киш через запретную черту, сыскал сокровища. Но где нынче его воля?..

Лохов вышел из шалаша. Уж не надумал ли задать лататы? Глянул по сторонам, ночь темная-темная, шмыгнул в кусты. Но тут услышал давешний, так взволновавший его голос:

– Филька, ты?..

Остановился, ноги опять стали вялые, слабые, с места не стронешься.

Подошел рядчик, похлопал по плечу:

– Давненько дожидаюсь. Мыслил я, вдругорядь наостришься в бега. Караулил. – Помедлил. – Слышь-ка, Филька, а чё те бегать? Обещаю, о давнем никому ни слова. Живи! Токо вот чё – подсобляй мне в деле. Земляк жа!

Не сразу понял, а когда дошло до сознания, упал на колени, обхватил дрожащими руками старостины ноги:

– Петр Иннокентьевич, спасибо, уважил! Да и не повинен я, вот те крест!

– А мне чё – повинен аль нет?.. Служи. Не обижу. – Оттолкнул Лохова, ушел.

– Филька, ты где? Э-эй!

Прислушался, Христя кличет. Кто ж еще?.. Отозвался из кустов:

– Тутось я.

## Глава 6

Всю неделю после встречи с Бальжийпином в юрте старого буряты Мефодий Игнатьевич не мог забыть случившийся тогда разговор. И удивлялся тому, как вел себя при этом разговоре, и злился, но ничего не мог поделать с собою, со всем тем, что жило в душе, едва приметное, далекое. Случалось, говорил:

– Врешь, монах! Сила правит миром – не доброта! И так будет всегда...

Бывало, что убеждал себя, и тогда делалось легко и привычно спокойно, но проходило какое-то время, и он снова чувствовал себя неуверенно, и тогда дело не шло в руки... Вот и теперь, распорядившись заседлать любимого гнедого, а потом выезжая со двора, он думал о случившемся разговоре.

Но, очутившись за поселком, Мефодий Игнатьевич заставил себя думать о другом. Он направил коня берегом моря по узкой, пробитой в горячем песке тропке, ехал медленно, видел неторопливо накатывающие друг на друга пенные буруны и размышлял о Федоре Саймонове, который в середине прошлого века поставил на Байкале маяк. Он не в первый раз размышлял о судьбе этого человека, который был выдающимся географом и крупным государственным деятелем, не захотевшим смириться с засильем немцев при дворе Анны Иоанновны, за что был бит кнутом, лишен всех чинов и сослан в каторжные работы. Однако ж вскоре померла императрица, и новые власти велели сыскать опального сановника, лишенного имени. Нашли-таки, прикрыли его наготу старым боевым знаменем, снявшим позор кнута и каторги, отправили исправлять губернаторскую должность в Сибирь. Человек, не сломленный невзгодами, впервые очертивший границы славного сибирского моря, вызывал искреннюю симпатию в душе Мефодия Игнатьевича, и он не однажды поминал того в своих разговорах. Как, впрочем, неоднократно поминал и Сергея Юльевича Витте. Мефодий Игнатьевич встречался с Витте три раза, однако ж знал о нем много и искренне уважал за деятельный ум, за стремление способствовать процветанию России. Жаль, конечно, что из этого мало что получилось. Впрочем, кое-что он все же делал, и это внушало к нему симпатию. Однажды, будучи приглашенным в кабинет министра на Каменноостровском проспекте, Мефодий Игнатьевич не преминул сказать о своем отношении к графу и был сначала удивлен, что тот принял его слова с откровенным неудовольствием, но по прошествии времени это даже понравилось. Думая о Витте, о его книге «Принципы железнодорожных тарифов», о статьях, публиковавшихся в свое время в журнале «Инженер», он находил их в высшей степени интересными, поучительными, во многом положительными началом новому для России делу. Впрочем, так это, очевидно, и было. Мнение Студенникова не назовешь единичным, и те инженеры, с кем он близко сошелся на строительстве Кругобайкальской железной дороги, соглашались с ним. Нравилась Мефодию Игнатьевичу и та простота, которая выделяла графа среди сановников, она была не искусственная, нарочитая, которую иной раз силились надеть на себя люди, облеченные властью, а простота естественная, как бы идущая изнутри. Наверно, тому можно сыскать немало причин. Граф и сам в свое время не был обойден невзгодами, рано потерял отца, который не оставил наследства, и, учась в университете, пробивался на скромную стипендию.

Но больше всего Студенникову нравилось в Витте, что он досконально знал железнодорожное дело. В те встречи министр раскрыл перед Мефодием Игнатьевичем удивительную панораму будущего, дух захватывало от услышанного, думалось, что он не пожалеет себя и своего капитала и все отдаст на благо процветания Сибири. Может, после тех встреч Студенников по-настоящему понял, отчего именно граф Витте, а не кто-то другой первым выдвинул идею строительства Кругобайкальской железной дороги.

Конечно, он слышал о Витте немало такого, что, по меньшей мере, смущало, говорили, что и польстить умеет, и схитрить, и при этом всякий раз ссылались на сделавшуюся извест-

ною всем историйку, которая случилась с покойным государем императором. А было так... Царь ехал в особом поезде по Юго-Западной железной дороге, что в ту пору находилась в ведении молодого Витте, причем ехал медленно, так медленно, что в конце концов возмутился. Приближенные царя, естественно, сказали об этом начальнику дороги: дескать, везде государя возят быстро, и только вы не в состоянии это сделать. Витте выслушал, ответил с немалою дерзостью:

– Пусть другие поступают, как знают, а я не согласен подвергать опасности жизнь государя. В конце концов вы сломаете ему шею...

О словах начальника Юго-Западной железной дороги стало известно императору, он нахмурился и ничего не сказал. А через два месяца случилась катастрофа с царским поездом. Государь не пострадал, но сейчас же вспомнил о Витте:

– Это тот самый молодец, который предупреждал, что они когда-нибудь сломают мне шею? Ведать ему департаментом железных дорог.

Говорили даже: уж не сам ли Витте подстроил аварию с царским поездом? Нет, конечно... Тем не менее последнее обстоятельство сильно повлияло на его дальнейшую судьбу. Впрочем, Мефодий Игнатьевич был уверен, что симпатичный ему человек все равно достиг бы желанной цели, поскольку обладал крупным государственным умом. И он часто говорил:

– На сто дураков один умный. Не мало ли? – И сам себе отвечал: – Нет, не мало, если этот один – Сергей Юльевич.

Студенникову не дано было знать, что в день похорон Витте Светловский, считавший себя социал-демократом, положил на гроб бывшего сановника Российской империи венки со словами: «Великому государственному деятелю, которого оценит история».

Мефодий Игнатьевич в эти минуты проезжал близ пристани, где стоял ледокол-паром «Байкал». Не без чувства удовлетворения подумал, что все сложные работы по сборке ледокола, в частности установка паровых котлов и водоотливной системы, проведены русскими людьми. А ведь кое-кто говорил, что надо бы пригласить английских рабочих; дескать, сами не управимся, куда нам! – рылом не вышли... Ледокол стоял недалеко от пристани, и Мефодий Игнатьевич с привычным для него восхищением смотрел на могучую морскую громадину. Издали он видел на палубе три рельсовых пути, на которых стояли вагоны, а чуть в стороне суетились люди: они казались маленькими, беспомощными, что-то кричали, размахивая руками. Мефодий Игнатьевич поморщился – не любил излишней суеты. Но это не могло поломать его душевного состояния, знал: впечатление беспомощности, которое исходит от людей, находящихся на палубе, обманчиво, при первой же необходимости они сумеют сделаться умелыми и ловкими, обладающими сметкою, которую в простолудии неизменно называют русской, но которая присуща всем народам, населяющим империю.

Человек занятой, он терпеть не мог расходовать время впустую, и даже сейчас, слезая с лошади, которая вдруг занервничала и не хотела стоять на месте, он вновь вернулся к недавним размышлениям, но они уже не были столь радужны, и, прокручивая их в голове, он, случалось, раздражался, хмурился. Жаловались министру: для конопатки судна принята пенька, которая содержала излишнее количество смолы, это-де повлияло на ее стоимость, причем ни много ни мало – на тридцать процентов. Из заключения представителя Морского министерства вышло, что тут повинны подрядчики. Мефодий Игнатьевич решительно не согласился с таким заключением, о том и уведомил его превосходительство Сергея Юльевича Витте. Однако полученный ответ не порадовал, министр не принял объяснения и, гневаясь, написал, что ему досадно: даже в лучших русских промышленниках все еще живо чувство лавочника, они норовят урвать побольше, не желая думать о государственной пользе.

С неделю Мефодий Игнатьевич ходил сам не свой, не хотел бы сравняться с другими, считая себя выше, умнее, дальновиднее, однако в глубине души сознавал, что министр прав: и в нем, Студенникове, немало от расчетливого дельца. Но что прикажете, коль такова жизнь?

А тратить деньги впустую, не получая прибыли... Э, ищите дурака в другом месте!.. Говорят, при возведении мола близ станции Мысовой ему переплатили почти семь тысяч рублей. Что ж, может, и так. Однако ж забывают, что провел он работы быстро и качество их исполнения отменное.

Мефодий Игнатъевич усмехнулся: строили на казенный счет на восточном берегу пассажирскую платформу. И что же?.. Простояла с неделю и обрушилась. А почему? Строительная администрация прошлапила, недоглядела... Нет, он решительно не согласен с тем, что подчас говорится о нем. Да, он не склонен тратить впустую деньги, в любом случае стремится получить прибыль, но ведь эта прибыль сейчас же поступает в дело, усиливая его, укрепляя, а это значит, что человек он государственный, наделенный теми качествами, которые позволяют думать не только о собственной мошне...

Так считал Студенников и упорно не желал замечать того, что выходило за очерченные им самим рамки. Скорее, по этой причине он мало интересовался, как хозяйничают приказчики и люди, близкие им по занятиям, воруют ли, нет ли, был с ними сдержан и спокоен, а если случалось прогнать со службы, делал это с явной неохотой, полагая, что с другой будет не лучше; он держал в голове целостную картину всего дела, не желая знать про частности; это помогало находиться как бы в стороне от всех, и, если случалась неприятность и к нему обращались за помощью, говорил: «Нехорошо!..» – и охотно шел навстречу. Так было, к примеру, когда к нему обратился Христя Киш и попросил наказать стражника. Он не сразу забыл про свое слово и велел взыскать со стражника... А потом еще долго рассуждал о том, сколь темна душа человеческая, и при этом сам себе казался в высшей степени порядочным, интеллигентным и недоступным пониманию тех, кто окружал его. На прошлой неделе он получил письмо с далекого Баргузинского прииска, куда уехал Иконников, в этом письме, к своему удивлению, нашел немало дельных советов и наблюдений, а еще там содержалась просьба отправителя письма: передать управление прииском в его руки, прежний приказчик вконец спился и уже не способен что-либо решать... «Вот и дворянчик!.. А Марьяна говорила, что он погибнет в тайге, и упрекала меня...» По правде-то и сам Мефодий Игнатъевич думал так же... И ему было известно, хотя вроде бы и винить себя не в чем: никто не выгонял Иконникова из дому, где к нему успели привыкнуть, порою его откровенно не хватало.

Недолго размышлял Мефодий Игнатъевич, отписал Иконникову, чтоб брал власть над прииском, и тут же забыл об этом: ждали дела поважнее... И в том, как он скоро забыл об этом, Студенникову увиделась еще одна черта характера, которая возвышала его над другими. В самом деле, как бы поступил другой на его месте?.. Уж, конечно, долго ахал бы и охал, а в конце концов так и не доверил бы человеку, до недавнего времени жившему из милости в доме, такое важное предприятие, как управление пускай устаревшим и малоодоходным прииском.

Мефодий Игнатъевич слез с лошади, которая все еще брыкалась и не хотела стоять на месте, привязал ее к коновязи, подошел к юрте, помедлив, откинул полог... Было сумрачно, и он не сразу увидел людей у очага, но потом разглядел старика, в руках тот держал музыкальный инструмент с длинную дужкою, по тонкому, светлому, словно бы струящемуся желобку которого змеились три блестящие струны. «Хур», – определил Студенников. Он не однажды слышал, как играют на нем, и это всякий раз вызывало чувство грустное и томящее. Постоял, придерживая полог рукою, прошел вперед, присел на краешек кошмы, расстеленной на полу. На него никто не обратил внимания, он не обиделся, по опыту знал, что это еще ни о чем не говорит, а уж тем более о неуважительном отношении к пришедшему, у бурят принято не выказывать в открытую радости или обиды. Другое дело, если теперь не подадут чашку с чаем. Помедлив, с беспокойством оглянулся: подле него сидела старуха с жидкими белыми волосами, и она тоже посмотрела на Мефодия Игнатъевича, протянула чашку с чаем.

Старик наклонил большую лысую голову, провел пальцами по струнам хура, словно бы давая им возможность распеться, а когда последний, мягкий и дрожащий звук растаял в чут-

кой, словно бы дремлющей тишине, старик поднял голову, глядя перед собою, и глаза у него были темные и неподвижные, в них не чувствовалось жизни, они как будто устали, и ничего-то уже не могло взволновать их. Странно и тревожно было смотреть на старика, у которого такое живое, с яркою, почти солнечною смуглотою лицо и... эти глаза. Не сразу Мефодий Игнатьевич понял, что старик слепой, а когда понял, слегка успокоился и уже собирался отыскать глазами старейшину улуса и не успел... Старик провел длинными, с острыми желтыми козонками, пальцами по струнам хура и запел. Студенников с малых лет общался с бурятами и неплохо знал язык, и очень скоро на душе сделалось беспокойно и томяще. Старик пел о большой бурятской степи, которая вдруг раскололась и ушла под воду, о славной смуглолицей девушке, она в эту пору ехала на длинногривом скакуне по торной тропе близ Байкала... Он пел о большой любви, что жила в груди этой девушки. И была та любовь сильная и добрая, и она не погибла в волнах вместе с девушкой, искры от нее и теперь еще нет-нет да и вспыхнут посреди степи, и люди не знают, откуда эти искры, и удивляются, а те, кого неожиданно они обожгут, не хотят говорить об этом. Только молодые, если случится им приехать на берег Байкала, вдруг да и увидят в волнах смуглолицую девушку, и глаза у нее вовсе не грустные, нет, дарят надежду и радость...

Мефодий Игнатьевич слушал улигершина, и все, чем жил до этой минуты, словно бы отодвинулось, отступило, и он, слабый, обнаженный перед миром, уж и не знает, куда пойти и что делать, а все то, чем была полна душа, показалось таким маленьким и ничтожным... И он спросил себя: «Что это со мною? Что?..» И не нашел ответа, и это было так не похоже на него, человека, привыкшего в любом случае отыскивать первопричину явления.

Улигершин пел, но Мефодий Игнатьевич уже не слушал, был во власти смятения, которое пришло так неожиданно. Привыкши думать о себе как о человеке сильном, а зачастую и дерзком, способном на решительные поступки, он с удивлением ощутил смятение, о котором и понятия не имел.

Странно, когда б он поддался этому чувству, наверное, много чего мог натворить, а потом поди расхлебывай... А, впрочем, отчего бы и нет? А что, если взять и выкинуть такое, чтоб люди долго еще качали головами и ахали: «А Студенников-то, надо же!..» И чтоб Марьяна тоже смутилась. Правду сказать, уже давно хочется, чтоб Марьяна была помягче, не вздыхала и не говорила: скучно-то, господи!.. Случись так, он, может статься, и не уходил бы из дому... Впрочем, чужая душа – потемки. А своя?.. Однако ж Мефодий Игнатьевич знает про себя: этого никогда не случится и он ничего не выкинет. Не из той породы, чтоб не уметь управлять своими чувствами. К тому же наслышан: про сибирских промышленников и так черт-те что говорят. Иль мало этого?.. А все ли тут правда? К примеру, сам он иль пьяница, иль темный человек с берданкою, из тех, кто шалит на Сибирском тракту?.. Вовсе нет. Было, конечно, и дед его, и отец не по воле божьей, по своей сделались почитаемыми среди людей. Богатство чистыми руками не возьмешь. Но да ладно! Что было, былем поросло. Впрочем, нет-нет да и услышит байку от старого человека: мол, дед твой до самой смерти лихачил, сказывают, и в тайгу хаживал с молодцами вылавливать золотоношей. Сколько ж им загублено людских душ, сколько ж золотишка припрятано!..

Услышит, пожмет плечами и дальше пойдет, словно бы не про его родича говорено.

Сын отца, так, конечно, но это не по сердцу Мефодию Игнатьевичу. Отец был крут и властен, копил богатство и гордился им, все ж остальное побоку, света белого не видел, с утра до ночи об одном мысли... Студенников не желал походить на отца, ему даже случалось жалеть тех, кого тот обижал. Наверное, это от матери... Порою сказывала про свою юность, и тогда он долго не мог уснуть, и виделись государственные преступники, что в свое время вышли на Сенатскую площадь. Был среди них один, жил в Селенгинске, на поселенье... батюшка Михаил Александрович, и во двор, где работала девчоночка с отцом и матерью, захаживал, слова гово-

рил ласковые, а однажды подарил таратайку, чтоб запрягли в нее лошадь. Сделался заправским мастеровым, а ведь благородных кровей.

Это и по сию пору чудно Мефодию Игнатьевичу. А еще чудно, что люди спознаются с каторгою. Жалеет их страсть как... На руках кандалы, потом и того хуже – узкие, с парашею, камеры и оконцы с решетками... Не волен управлять собою, делать, что хочется. Страшна участь! Но зачем тогда не жалеют себя? Зачем?.. Случается и нынче: выйдет на Сибирский тракт, слушает кандалный звон, подолгу вглядывается в худые изможденные лица, и на душе делается тревожно. «Слаб ты, – случалось, говорил отец. – Это от матери, та всю жизнь так и проходила, кого ни попадя жалея...»

Мефодий Игнатьевич и дня не смог бы выдержать, окажись он на месте каторжников. Волю он любит пуще всего на свете, чтоб простору вокруг было много, чтоб солнце сияло. Ему по этой причине в российских столицах, что в северной, что в срединной, скучно. Едва очутившись там, торопится уехать оттуда в Сибирь-матушку, где версты немерены и где златогоры сверкают в дикой красоте.

Сибирь, для кого-то она, верно что, матушка, угостит дарами тайги, напоит родниковой прозрачной водою, приветит ласковым щебетом лесных птах, но для кого-то и не матушка вовсе – мачеха, не подступись, обовьет ноги путаньком-травою, напустит сухой ковыльный ветер – с места не сдвинешься, а глянешь вокруг – и ничего не увидишь, только степь, ровную, гладкую, скучную, и больно станет на сердце и страшно, Господи, скажешь, что за дикий край сей!..

Может, и впрямь дикий, но лишь для тех, кто чужою властною силою пригнан сюда, у кого зачерствело сердце от великих обид, от несбывшихся мечтаний, а для коренного жителя этих мест, прозванного во всех краях Российской империи чалдоном, нет ничего торватее и добрее отчего края.

Мефодий Игнатьевич немало знает про Сибирь-матушку, и не только того, что греет сердце, а и горького, трудного, во что и верить порою не хочется. Но как же не верить, коль все так и есть?.. К примеру, сказывают, суровый народ – чалдоны, к приезшему люду неласковый. И ответил бы: «Ничего подобного!..» Но лишь вздохнет и постарается перевести разговор на другое. Случалось и на его памяти: встречали чалдоны на таежной тропе каторжных и, как на диких зверей, устраивали на них облаву, а потом, когда те оставались лежать на земле, бездыханные, похвалялись друг перед другом своим молодечеством. Истинно: чужой люд для сибиряка ровно что зверь – долго станет к нему приглядываться, прежде чем заговорит о чем-либо, а уж руки не подаст никогда, люд этот до скончания века будет для него чужой.

Но все ж есть и другое, и об этом тоже помнит Мефодий Игнатьевич: на сибирской заимке, окажись там в самую лютую стужу, непременно отыщешь вязанку хворосту, кусок черствого хлеба и ломток сала... Не для себя оставлено – для людей. И пользуются этим беглые и мысленно поблагодарят человека, с которым стараются не встречаться на таежной тропе.

Темна душа сибиряка, неугадлива. А что ж, чья-то душа понятна с первого слова?.. Студенников вздохнул, поглядел по сторонам. Улигершин уже положил на теплый земляной пол хур и устало провел ладонью по маленьким тусклым незрячим глазам.

Мефодий Игнатьевич увидел старейшину улуса не сразу, тот сидел в стороне от других, желтоволосый, с худыми впалыми щеками.

Был он в бурятском дыгыле, унтах, сшитых из оленьей кожи, в цветной тюбетейке, сдвинутой набок. Мефодий Игнатьевич подсел к нему, заговорил о деле, которое привело его сюда.

– Ладно, буду помогать, – выслушав Студенникова, сказал старейшина. – Дам подводы.

## Глава 7

– Поезжай в деревню, погляди, чего там... В отчем доме наведи порядок. Небось запущено, – говорит Ознобишин и, посмеиваясь, глядит на Лохова. А тот рад – когда б дозволено было, ручку б поцеловал у рядчика.

– Петр Иннокентьевич... Петр Иннокентьевич... – говорит Филимон и преданно глядит на Ознобишина, а потом бежит к балагану, подле которого у рыжего, посверкивающего костерка, подложив под себя курмушки и зипуны – кое-где в проблеск с желтой травой лужицы, – сидит едва ли не вся артель. Артель заметила нетерпение в движениях Лохова, спрашивает, что случилось. Но тот молчит, улыбается.

– Иль староста отпустил домой?... – говорит Христя Киш. Филимон кивает в ответ, заходит в балаган, отыскивает под соломою, у входа, узелок со всякой всячиной: здесь и черные, в клубок смотанные, нитки, и бабий цветастый плат, есть и леденцы... на прошлой неделе с Христей и с Сафьяном ходил в рабочий поселок, в хозяйскую лавку, там и приобрел по случаю. Сказано было рядчиком: отписал твоей непутевой бабенке на прииск, чтоб верталась с мальцами в родную деревню, не медля... Оттого и приобрел, что знал: скоро и сам появится на вотчине, так чтоб не с пустыми руками...

Недолго мешкает Филимон, выходит из балагана с узелком в руке, шустроглазый, говорит, заискивающе глядя на мужиков:

– Значит, я того... пойду, однако? Прощевайте покудова!

– Э, погодь-ка!

Оглядываясь, видит рядчика, глаза у него веселые, да и с чего бы ему печалиться: дела в артели – надо б лучше, да некуда. Артельные делают урок засветло и, помимо урока, много чего успевают. На прошлой неделе приезжали из конторы и были довольны.

– Погодь, погодь!.. Потемну пойдешь. Чего день ломать без путя?

Филимон скисает, однако ж супротив слова не скажет, мелконько кивает головой. А когда рядчик уходит, подсаживается к костерку. Сафьян подгребает в его сторону запеченные картофелины:

– Ешь...

Лохов словно бы не слышит. Христя негромко ругается, потом говорит с привычной усмешкой:

– Ничё!.. На зореньке застанешь жену в кровати... тепленькую. Отведешь душу!

Мужики смеются, и Филимону делается легче: ладно, потерплю!

Идут на лесную делянку, рубят просеку. Лохов с Сафьяном делают на деревьях подрезы, а Христя где руками, где длинным, с железным ржавым наконечником, гибким шестом правит сосну, чтоб не упала в другую сторону. А то прибежит рядчик, заставит оттащить сосну. Поначалу так и случалось. Но теперь приловчились. Невелика наука!..

Работает Филимон, а сам все на солнце поглядывает, большое, красивое, чудится: и с места не стронется. Неторопливое уж больно, солнце-то, а Лохову нынче надо, чтоб по-другому... Спасу нет, до чего нетерпелив, в груди все ходуном ходит, страсть что за непокой – куда ж от него денешься-то?..

Сотоварищи примечают его душевное состояние, посмеиваются незлобиво, бывает, что и скажут:

– Эк-ка распирает мужика!..

Видится Филимону женушка, теплая, ласковая, в глазах у нее радость: пришла-таки!.. А еще и слезы, куда ж бабе без них, хотя бы и в радости... И малыцы видятся, глазенки – во!.. – большущие, смотрят на отца, а сами за материну юбку держатся: не признали... Да и то –

сколько времени не виделись. Но да Бог милостив, наладится еще, вон и Петр Иннокентьевич говорит, что наладится, а он мужик башковитый, знает жизнь...

Сотоварищи, бывало, недоумевали: чего ты, Филька, липнешь к рядчику, иль сват?.. Отмалчивался, робея, а мог бы и сказать: «Потому и липну, что Ознобишин сильненький, при его-то власти уж так придавит, не подымешься».

Все ж неловко делалось Лохову, случалось, ловил себя на мысли: «А ну его подальше, старосту! Иль я не сам-перст, повидал кое-чего и маленько смыслю...» Но проходило время, и мысль эта отступала, а потом и сам робел, стоило вспомнить про нее, делался еще расторопнее, коль близко оказывался рядчик, старался угодить.

Гудит лесная делянка людским разноголосьем, прилипает к обуткам колючая чепура, норовит зацепить, ухают сосны, ударяясь оземь, желтая пыль зависает в воздухе и долго еще не исчезнет... И вдруг в эту, уже сделавшуюся для людей привычною, развороть врывается чей-то пронзительно-длинный и жалобный крик, люди застывают на месте, с минуту со страхом глядят в ту сторону, откуда донесся крик, а потом не сговариваясь бегут к темной стене леса. У многих в руках топоры, палки, а Христа с длинным шестом, размахивает им, кричит что-то, в глазах бесовская удаль, ему словно бы по душе случившийся переполох. А и впрямь по душе, все минута-другая не рядчика – своя... Вроде б недолго Киш в артели, с месяц, быть может, а уж поднадоело изрядно, вдруг да и навалится печаль-тоска, и начнет крутить-маять, и привидятся дальние дороги, про которые только и слышал, вот ступил бы сейчас на тропу и пошел, пошел... Ах, Господи хорошо-то как!.. Уж и к тому, с хитрой лисьей мордочкой, с западу, что и по сей день не ушел еще, все приглядывается, подкатывает: ладно ли там, в евошных даях?.. Знал, чего уж там ладного, когда б по-другому, не пришел бы сюда мужичок. Знал, а спрашивал и жадно ловил каждое слово... Смутно на душе, ох как смутно!..

Легок на ногу Христа, вот уж и впереди всех... А деревья стоят плотно, одно к одному, тут не то что с шестом, с палкою едва ль продерешься. Недолго мешкает, бросает шест, углубляется в чащу, а скоро видит у старой, с изогнутой кроною, изжелта-белой березы плосколицего мужика с густыми рыжими бровями, признает в нем Назарыча и с удивлением глядит на него, скулящего.

Подбегают остальные.

– Ты, подлое семя?.. – спрашивает Киш.

Назарыч замолкает и какими-то мутными, словно бы неживыми глазами смотрит на мужиков, а потом опять начинает скулить.

– Браты, а он же в аккурат причипленный к дереву! – восклицает ходак из Расеи. – Оттого и с места не сдвинется, гляньте-ка!

И лишь теперь Христа замечает, что Назарыч и вправду будто прирос к дереву, а правая рука у него как-то неестественно поднята. Тут же стрела торчит, длинная, черная, с рыжими перьями... Видно, стрела насквозь пронзила руку Назарыча, оттого и не стронется с места, скулит.

Не по себе делается Кишу, отходит в сторону, а скоро рядом с ним оказываются другие, тоже смущенные, стоят, стараясь не глядеть друг на друга.

– Родненькие, да вы чё? Пособите!..

Молчат, словно бы не слышат, и не потому, что не хотят помочь, а просто не знают, как это сделать, небось стоит прикоснуться к стреле – и пуще того закричит Назарыч, и тогда хоть на край света беги... Вроде бы ладные мужики, а тут сробели. И Христа знает, отчего это... Всех смутила черная длинная стрела. Недобрый знак... грозный...

Но вот Сафьян подходит к Назарычу:

– Ну-ка!..

Долго держит ладонь на стреле, потом с силою дергает ее. Назарыч вскрикивает, тоненькая струйка крови бежит по его руке.

– Нехристи, чтоб их!.. – ругается он, глядя на мужиков. В глазах плещется страх, когда он говорит: – А что как стрела отравлена? – Разрывает рукав зипуна, разглядывает ранку на плече. – Может, надобно сделать надрез, а?..

Мужики отворачиваются.

– Нужон ты больно, – произносит Христя. – Пошто станут руки марасть об такую падаль и змеиный яд переводить?..

Идут к балагану. Мужичок из Расеи шустер, про все-то ему знать надобно: отчего да откуда стрела прилетела?.. Но молчат артельные, слова не вытянешь, хотя каждый из них знает, откуда напасть, с малых лет наслышаны от дедов да отцов, бывало, что самих пужали: вот придет охотник с черными стрелами, уж он задаст, побалуешь тогда!.. И разом присмирееет малец, задумается...

Что же случилось в те, теперь уже неближние времена?.. А то и случилось, что стоял улус на берегу Байкала, напротив Саймоновской вышки, чуть в стороне от места, где нынче рабочий поселок. И жили там охотные люди, промышляли зверя в прибайкальской тайге, растили детей, учили их понимать повадки соболя и горностая. Все у них ладно было, однако ж появились подле улуса разбойные людишки, велели сниматься с места: дескать, земля у Байкала нам надобна. Но жители улуса не захотели уйти. Да и куда?.. А людишки, взрослые на разбое и грабеже, умело направляемые не то властью Степной нойонской думы, не то свитскою, белого царя, властью, оказались настырные, ни днем ни ночью нету от них покоя. Однако ж мужчины в улусе тоже не робкие, с малых лет привыкли держать в руках охотничьи луки, колчаны со стрелами. Не давали спуску... Но случилось однажды охотникам быть вдали от родных юрт, на облавной охоте. Тем и воспользовались разбойные людишки, подожгли улус со всех сторон, и мало кто ушел из огня.

Вернулись охотники, а от родного улуса остались головешки. Тогда и поклялись предать лютой казни всех, кто поднял руку на их жен и детей.

Давно это было, и мало кто уцелел из разбойных людишек, пали, пронзенные стрелами, а кто уцелел, в страхе подались в другие края, предав проклятью землю холодную, неласковую. Вряд ли живы и те охотники, время безжалостно... Но тогда отчего нет-нет и прилетит черная стрела из глухого сумрака леса и трепетно станет на сердце, жутко?.. А может, это дети или внуки охотников, чудом не принявшие смерть в огне, все еще вершат суд?.. Одному Богу известно сие...

Велика Сибирь-матушка, идешь ли по степи, по таежной ли тропе, час идешь, другой, вольготно на душе, светлое чувство все ширится, растет, оттого что видишь глазам открывающийся простор и скоро позабудешь про невзгоды и печали, словно бы не было их сроду. Но вдруг затомит на сердце, и уж не так привольно... Долго не поймешь, откуда томление, все вроде бы хорошо: вон и солнце греет, и жаворонки ввинчиваются в бледную синеву неба, и кроны деревьев негромко пошумливают, и шальной ветерок ластится. Но томлению все нипочем, делается больше, больше, пока не сверкнет смущенною мыслью: а ведь оттого и неспокойно на душе, что слишком уж много простору, и не привычного глазу, а всякий раз неожиданного, смутного какого-то, и расшибиться об него недолго. Вот такое чувство, а идет оно от неумения принять дивное и таинственное, что видится на каждом шагу. Привыкши принимать за истину только ясное разуму, человек теряется среди всей этой неумности и почти живого напора грез и видений, которые вдруг начнут тревожить, а потом и окончательно овладеют им, и уж бог весть что станет видеться, а чаще грозное и сминающее, будто ты и не человек, а так себе, тварь божья, и разные дьявольские силы проносятся над тобою, и каждое мгновение ждешь, что вот-вот коснутся твоей слабой плоти и раздавят, изничтожат, превратят в прах... Сильный ли ты духом человек, слабый ли, в любом случае, только в разное время – днем ли раньше, позже ли, – ты поддашься этому чувству, после чего на сердце появится робость, и будет она всегда с тобою: даже в большой радости пребывая, вдруг тень растерянности про-

мелькнет в лице, и ты посмотришь вокруг с горьким удивлением, и обожжет сердце тот, от веку, непокой...

Так и Христа Киш... Минуту-другую назад ему было приятно глядеть на муки давнего недруга, тешила мысль: сколь веревочке ни виться, концу быть... Видать, переполнилось чье-то терпение, и на конце стрелы отмщение... Но стоило глянуть на темные, одно к одному, с искривленными кронами деревья, на поросшую мхом землю, от которой исходил приторно-сладкий дух, на низкое сумрачное небо, еще не остывшее, но уже и не теплое, с белыми, почти прозрачными пятнами облаков над дальними, в снежном кружеве, гольцами, как сделалось беспокойно, а недавнее удовлетворение истаяло, позабылось, и уж на Назарыча, который идет чуть в стороне, широкий в кости, неловкий, только и посмотрит и незлобливо усмехнется:

– Чё ты, как лапотник, об каждую кочку спотыкаешься?..

Томление на сердце у Киша, но не это, от робости, другое... Скучно, горько, и дальше видится, будто бы идет он, малец еще вовсе, по берегу Селенги-желтой реки, а обочь трусит мужичок никудышный, в лохмотьях, но с душой светлой. Говорит мужичок, яснея смуглым лицом:

– И до чё дивно глядеть на эту землю, мать вашу! Так бы все шел и глядел, и ничего-то больше не надо.

Не верит малец, смеется:

– А когда со вчерашнего не жрамши, тогда как?..

Замолкает мужичок, и глаза грустные делаются, потом говорит:

– Правду сказать, и сам не знаю, а токо думаю: надо б приловчиться брюхо держать в узде, чтоб не напоминало про себя каждую минуту. Я приловчился, могу и неделю не жрамши...

Тощей, бледный, в чем только душа держится, сказывал, что с Уралу, на заводишке робил, и все б ничего, да мастер попался злыдень, невзлюбил, по случаю, а чаще просто так, острастки ли ради, собственного ли удовольствия для, «казнил» штрафами и уж до того довел, что и получать стало нечего. Бежал с заводишка, весь в долгах, очутился в Забайкалье, хотел устроиться на работу, да, слава богу, добрые люди отговорили: зачем?.. Иль много человеку надо?.. Стал бродить по земле, в крестьянстве ли кому пособит за краюху хлеба, на железнодорожной ли станции из вагона поможет выгрузить, за то грош... Голодно, страсть как, однако ж на вольной волюшке: мой день – моя радость... И мысли услужливые, без насилия над собою, нашептывали: глянь-ка на этих, которые в тепле и в сытости, иль ладно им, скажешь?.. Отчего же тогда грызутся как волки и на людей глядят люто? Иль ведома им дальняя дороженька, чтоб шел по нескончаемой да солнышко над головой видел, яркое и теплое, и чтоб птички пели дивные песни?..

Чудной был мужичонка, умел сказать слово ласковое, вскружил голову мальцу, один-одинешенек тот посреди большого мира, никто не держит, хочешь – иди с мужичком, хочешь – оставайся в городишке, промышляй правдами и неправдами на пропитание себе. Пошел с мужичком. Нынче в одну деревню забредут, завтра в другую, случалось, в кармане грош заводился, и тогда радости не было предела, заявлялись на торжок и долго выпытывали: почем обувка на мальчика?.. Случалось, выторговывали, и тогда ходил малец кум королю и неусыпно говорил мужичку про свою радость... А тому это приятно, порою прижмет к груди голову мальчика и долго стоит так... А придя в себя, станет сказывать про племя гордое, смелое, будто жили люди на берегу Байкала, промышляли зверя, никому не чинили обид и горестей, сами по себе, с душой чистою... Но пала напасть, и мало кто остался в живых, да и те поменялись, уж нету в душе у них доброты и света, одна ярость, и с этой яростью стали преследовать врагов. Случалось, находили черные стрелы в груди недоброго человека.

– Однажды и я сыскал такую же... Глянь-ка!..

И показывал стрелу в желтом оперении. Малец долго дивился на нее и про разное спрашивал, мужичок охотно отвечал. Выходило по его словам, что только злому выпадет смерть от стрелы, а человеку доброму нечего бояться ее. И лютей зверь не тронет, с понятием, а уж тот, кто вершит месть, и подавно...

Чудной был мужичок, и жить бы ему вечно, радость от него и тепло, но забрели как-то в сытенскую деревню, в одном дворе побывали, в другом, нигде не понадобились их руки, слышали суровое:

– Подь отсель!.. Подь!..

И выиграло ретивое у мужичка, вытащил черную стрелу с-под пазухи, начал грозиться:

– Недолго вам еще изгаляться над слабым и сирым, настанет день – и падет на ваши неразумные головы страшная кара!..

Деревенские увидели стрелу, нахмурились, а ближе к ночи оцепили место близ лесной рощицы, где мужичок с мальцом разожгли костер и сидели подле огня, навалились... Били мужичка молча, отталкивая друг друга локтями, норовя дотянуться до скрюченного тела. А малец стоял тут же, у костра, и кричал, просил жалобно:

– Дяденьки, не надо!.. Дяденьки!..

Словно бы не слышали и все били, били теперь уже слабое и податливое, бездыханное тело. А потом разошлись так же молча, стараясь не глядеть на мальчика, но спустя немного вернулся один из них, черный, нахмуренный, подумал малец, что это его смертушка, закричал страшно, но тот и не посмотрел на него, долго искал что-то в поблекшей, сделавшейся рыжей от крови траве, а когда толстые, упрямые пальцы нащупали стрелу, поднялся с колен, ухмыльнулся недобро, переломил... Пошел к деревне.

Малец проревел до утра, а когда рассвело, сел подле мужичка, начал тормозить. Тихо было вокруг, только лесные птахи щебетали и воздух наполнился утренней росной прохладой. Понял, не подымется мужичок, вытащил у него из курмушки нож, стал ковырять землю. И по сию пору не знает, что собирался делать? Рыть могилу для убиенного?.. Но пришли из деревни бабы, спешно, обрывая о толстые черенки пальцы, сподобили яму, положили туда мужичка, забросали землю. Велели мальцу не мешкая уходить:

– Как бы беды не случилось. Мужики-то на деревне страсть как обозленные...

Подался малец из тех мест, обломок черной стрелы прихватил, долго еще носил с собою, потом потерял... А к могилке много лет спустя приходил и все думал про мужичка: кто он и почему у него очутилась черная стрела?.. Но ни до чего не додумался, поправил уже почти сравнявшийся с землею холмик, пообрывал траву вокруг, погоревал и ушел.

Томление на сердце у Христи, и горько ему, и сладостно: повидал-таки и он на своем еще недолгом веку, а все вроде б мало... Взял бы и пошел по лесной тропе хотя бы вон к тем гольцам, обрывистым, ярым, с белой снеговой шапкою. А может, и не туда вовсе, в другую сторону, лишь бы не находиться на одном месте. Скучно!..

Идут артельные, негромко говорят про черную стрелу и у Киша, случается, спрашивают про что-то, и он, не сразу совладав с томлением на сердце, ответит и тогда увидит подле себя Лохова, Сафьяна и того мужичка из Расеи, который все бы выпытывал, а еще Назарыча и долго не поймет, почему лицо у него бледное, словно бы дрожащее каждую свою жилочкой. А когда поймет, спросит с досадою:

– Откуда ты родом? Уж не из этих ли мест?..

– Верно, из этих... А чё?..

– Знать, не зря в тебя пущена стрела черная, – скажет и недобро усмехнется.

– Сколь времени прошло, – с удивлением говорит Лохов, – а стрела все ищет обидчиков. Случается, находит...

– А я-то чё? – вздыхает Назарыч. – Малой был и не помню, разве что от батьки слышал про давнее. Иль повинен я?

– За другое повинен, – сурово говорит Христя. – Злыдень, каких земля не держала. Достанет и тебя. Бойся!

Подходят к балагану. Филимон рассказывает рядчику про то, что случилось у кривой березы, поглядывает на Назарыча и, странное дело, уж не испытывает перед ним робости. Лицо у рядчика делается растерянное, однако ж одолевает в себе неладное, велит артельным идти на просеку:

– Неча, неча, вон сколь времени ухлопали зря!

До позднего вечера Филимон храбрится и все вспоминает про женушку, которая ждет, поди, не дождется: староста давно как прописал, чтоб возвращались в родную деревню. Когда ж луна выкатывается на небо и артельные бросают наземь топоры, пилы, Лохов заметно скучнеет, пребывает в сомнении, которое пало на душу: стоит ли идти на ночь глядя, может, погодить?.. И все ж, когда рядчик спрашивает, как думает добираться он до деревни – таежной ли тропой, проселком ли торным, что тянется берегом Байкала, а потом сворачивает в степь, – отвечает негромко:

– Знамо, таежной тропой. Тут ближе.

Мужичок расейский крутится подле Филимона, прислушивается, а когда узнает, что тот не минует рабочего поселка, говорит:

– И меня возьми с собою, слышь-ка. Вдвоем веселее. – И добавляет с тоскою: – Лютые здесь края, непонятные.

Лохов доволен: вдвоем и впрямь веселее... Все ж не показывает виду, наскоро прощается с артельными, закидывает тулунок за спину, медленно идет по тайге, мужичок поспешает за ним. Филимон замечает: и у него мешочек в руке. Интересно, что в нем? Иль припас какой?.. Но скоро забывает про это, в тайге глухо и дремотно, ветка не шевельнется. Непокойно на сердце, и чудится, будто вон там, у пенька, стрелок сидит с длинным луком, глядит хмуро, дожидается, когда подойдут поближе... Лохов невольно замедляет шаг и все норовит сойти с тропы. Мужичок примечает его нерешительность, тычется ему в спину:

– Ты чё? Чё?..

Это успокаивает Лохова, шаг его делается тверже, увереннее. Все ж до тех пор, пока не блеснет впереди, рыже посверкивая в тусклом лунном свете, байкальская волна, он чувствует себя не в своей тарелке, робость одолевает.

Подходит к Байкалу, сбрасывает со спины тулунок, зачерпывает ладонью студеную воду, пьет, и на душе делается не так тревожно. Не знает, отчего эта перемена, да и не думает об этом, вспоминает о родной деревне, но уже без опаски, что вот промелькнут перед глазами греющие сердце картины и навсегда исчезнут. Верит: не исчезнут, никто не собьет с тропы.

Копится в душе уверенность, копится, и уж на мужичка глядит с недоумением, словно бы не помнит, отчего тот увязался за ним. Да нет, помнит и про него, и про других... Приходили в деревню такие же, вроде этого, просили Христа ради, случалось, подавали им. А бывало, гнали из деревни и уж там, за околицей, с неохотой били...

Глядит на мужичка и улыбается, но нету в улыбке радости, что-то досадливое, словно бы копившаяся в чалдонском сердце неприязнь к пришлым захлестнула, не совладаешь с нею. Верно что не совладаешь. Не долго мешкает, ощерясь зло, начинает рассказывать, как бивали на деревне пришленьких и как те просили отпустить их с миром. Но не отпустят сразу. Лют сибирский мужик на расправу, собирается долго, зато и ездит быстро...

Слушает мужичок и сначала дивуется, а потом меняется в лице и со страхом смотрит на Лохова:

– О Господи!

Филимон тоже смотрит, но не на мужичка, на мешочек, который у него в руке, мужичок замечает этот взгляд, прячет мешочек за спину.

– А ну покажь!.. – хмуро говорит Лохов, с удивлением прислушиваясь к тому, что в душе, а там черт-те что, смута какая-то, ярость, сам себя не узнает, и хотел бы приглушить все это, смять, а только не в силах, мешает что-то, неподвластное разуму. – Покажь, чё в мешке?!

Когда ж мужичок падает на колени и слабыми пальцами начинает развязывать мешочек, что-то пуще того яростное подымается из души, захлестывает, кричит Филимон:

– Ты чё подумал?! Чё?! – И пинает мужичка в живот и, пошатываясь от нахлынувшей слабости, идет по мягкому, влажному песку.

## Глава 8

День как мгновение, а мгновение как пыль земная, была и тут же истаяла, мало напоминающая про нее не отыщешь... Бальжийпин не сразу и скажет, что происходило с ним вчера, позавчера, и уж вовсе задумается, если вдруг спросят: а что он делал неделю назад? И не потому, что дни так уж похожи один на другой, нет, конечно, и теперь разнятся, каждый новый не повторяет ушедший, а только Бальжийпин так соединяет их в памяти, так выстраивает, отбрасывая все, что выпирало наружу, не укладываясь в общий, размеренный, не терпящий ничего лишнего ритм жизни, который с каждым разом все более подчиняет себе, что дни делаются похожими один на другой, как узлы на веревке... Длинна ли веревка, он не знает и не думает об этом, как не думает, в чьих руках тот, другой, конец ее. Он почти не выходит из юрты, понимая про ту опасность, которая угрожает ему. Но надолго ли его хватит? Он не привык жить без того, чтобы не видеться с людьми, помогая им и принимая их помощь. Он, может, потому и ушел из дацана, что тесно сделалось в его стенах, душно. А разве здесь, в юрте, ему не тесно? Не душно?.. Ну а что делать? Надо потерпеть, и он это понимает, хотя бы неделю, месяц, пока хуараки не перестанут искать его. Другого выхода нет.

Бальжийпин прежде никогда не имел ни времени, ни желания подумать о себе: кто же он такой и для чего живет на этой земле?.. А вот теперь в его распоряжении есть все, чтобы подумать, однако ж очень скоро от этих мыслей делается беспокойно, сердце начинает биться так сильно, что становится страшно: он не боится смерти и все-таки не хотел бы умереть посередине пути... Иногда он спрашивает себя: что это за путь, о котором часто размышляет и силится воссоздать в воображении, но так и не умеет?.. И не находит ответа, в голове возникает что-то призрачное и слабое, в чем-то удивительно схожее с паутинкою, вот висит она промеж листьев и подрагивает, и чудится: каждую секунду готова лопнуть, оборваться, но приходишь на старое место через день, а потом еще через два, а она все там же...

В полдень в юрте появился Студенников. И это было и неожиданно, и приятно, и не только Бальжийпину, а кажется, и старухе. Засиделись допоздна, а потом Бальжийпин вышел проводить гостя, вернулся, подсел к очагу. В его памяти, как, впрочем, и в памяти Студенникова, который теперь ехал по лесу, держался едва ль не слово в слово случившийся разговор. Вроде бы ничего такого не было сказано, но и тому и другому как-то спокойнее сделалось на сердце.

Говорили о разном, а пуще о душевной боли, с которой непросто сладить, и Бальжийпин все вспоминал про Шаманкин улус, откуда родом старуха, и Студенников с интересом слушал. Ламы не простили людям из улуса, и по сию пору грозят всякими бедами, и надо бы людям поменять название родного улуса, и тогда ламы перестали бы обижать их и запугивать, но те не делают этого. Упрямство тут или что-то другое?.. Оба враз, не сговариваясь, решили: нет, не упрямство. Видать, есть что-то в людях, и не всегда разглядишь – что именно, а только выплеснется наружу и светится ярко...

Студенников, не привыкший так судить о людях, немало подивился себе, когда вдруг и сам – впрочем, отчего же «вдруг», если уже давно в душе бродит, бродит и то толкнет на берег Байкала, и тогда подолгу стоит и смотрит, как плещут волны, то уведет в тайгу, где урчит и посверкивает горный ручей, разбиваясь об острые катыши, и тогда на сердце делается легко и ясно, и слезы выступят на глаза, непрошенные, и он не будет стыдиться их, и лишь тогда смахнет, когда солоня вода коснется сухих губ.

Мефодий Игнатьевич сказал об этом Бальжийпину, сказал и о том, что никогда прежде не испытывал подобного, тот лишь улыбнулся устало:

– Так и должно было случиться. Рано или поздно это случается со всеми.

Студенников охотно поверил. Странно, он ничего не скрывал от человека, которого и знает-то всего ничего, но даже и в этой странности чудилась какая-то особая прелесть, понятная лишь ему, и было легко и одновременно тревожно, впрочем, нет, скорее сладостно-тревожно чувствовать себя как на исповеди. Впрочем, на исповеди было несколько иначе, там все его слова сопровождала какая-то обязательность. Здесь, в разговоре с бродячим монахом, он вовсе не обязан открывать свою душу, а все делает это, и с удовольствием, впрочем, о своих предприятиях и связанных с ними хлопотах он не говорит ни слова. Нет-нет, не потому, что не хочет, просто об этом у него не спрашивают, а если бы спросили, что ж, он сказал бы и об этом. Здесь все просто и понятно, собеседник слушает и соглашается, бывает, что и поспорит, но тут же и посочувствует и недоуменно разведет руками, если что-то придется не по нраву.

Сколько помнит себя Студенников, он еще ни с кем так не говорил, не опасаясь, что не поймут. А ведь он пытался найти дорожку к сердцу деловых людей, но те либо отмалчивались, либо снисходительно улыбались:

– Ах, о чем вы, Мефодий Игнатьевич? Да есть ли что-то еще важнее дела?

На том все и кончалось, и постепенно Студенников привык, находясь в обществе и даже беседуя о деле, жить своими мыслями и устремлениями, не пытаясь поделиться ими с кем бы то ни было. Это вынужденное отъединение от людей, впрочем, не волновало, со временем он научился принимать его как нечто само собой разумеющееся. И теперь, уж если кто-то пытался вывести его из этого сделавшегося привычным одиночества, он недоумевал, а то и досадовал и говорил:

– Подите вы к черту!..

Студенников считал, что так будет всегда, во всю его жизнь, и это тоже находил естественным. Но вот заговорил с Бальжийпином, и для него открылось нечто новое. Видел, как внимательно слушал монах, и это радовало. Значит, он не один такой... с душой словно бы надтреснутою, есть и еще люди, и им тоже несладко, и случается, их тоже мает тревога. Говорили и о войне, и обо всем том, что связано с нею.

Лицо у Бальжийпина сделалось мрачным, долго молчал, сказал дрогнувшим голосом:

– Убивают, чтобы убивать... никакой другой причины я не вижу. И объяснения сыскать не могу.

Студенников так и не понял: объяснения чему?.. Хотел спросить, но промолчал. Его, собственно, удивило не это... удивило, что бывший буддийский монах, а ныне лекарь, который, как уже слышал Студенников, пользуется немалым авторитетом среди инородцев, сказал:

– Убивают, чтобы убивать...

И что же, более ничего, никаких причин не стоит за насилем?.. Или убийство для человека такая же потребность, как есть, пить, рожать детей?.. Да нет же, нет, существуют, наверное, какие-то идеи, которыми можно оправдать насилие. Можно ли?.. До сих пор считал: да, можно, а теперь засомневался, и это сомнение как нельзя лучше говорило о той открытости, незащитности даже, с какою он принимал каждое слово Бальжийпина, и то было удивительно для него самого, однако ж это не угнетало, напротив, приподнимало в собственном мнении, а душевные подвижки делало ярче и неожиданнее.

Они негромко беседовали, а чуть в стороне от них, возле очага, так что длинный языкатый огонь едва ли не касался полы халата, сидела старуха и, безучастная ко всему, разламывала хворостинки, подбрасывала в очаг. В какой-то момент Студенников обратил на нее внимание, и в голову пришла мысль: «Впрямь ли она безучастна ко всему или уж так умеет прятать чувства, что стороннему глазу и малости не приметить?..» Кожа на лице у старухи желтая, сухая и глаза почти неживые, и Студенников старался не глядеть на нее, а когда все ж возникала такая потребность, долго еще не мог прийти в себя и мучительно размышлял: в самом ли деле старуха жива или это тень ее на земле?..

Старуха сидела в стороне, слушала и ничего не понимала из того, о чем они говорили, но это не смущало, было б хуже, если б понимала, тогда бы разрушилось то плавное, ни на минуту не нарушаемое течение мысли, которая никуда не вела, а все ж была приятна как раз этою своею ненавязчивостью, веяло от нее спокойствием и ощущением непрерывности всего, что окружало. Мысль ее крутилась вокруг Бальжийпина, да нет, не Бальжийпина, а Баярто, ведь она по сей день уверена, что ее муж после смерти принял облик этого человека, и она думала о нем с материнской нежностью и боялась только одного: как бы он не узнал ее... Слышала, мертвые, воскреснув, уже ничего не помнят о том, что было в другой жизни, и не надо ни о чем напоминать им, а не то случится неладное, они исчезнут, как дым, как пыль... И когда Бальжийпин смотрел на нее, старуха старалась отвести глаза, и внутри у нее все сжималось, наплывал страх, но это был не тот, привычный страх, который в последнее время испытывала при встрече с незнакомыми людьми, а другой – холодный и давящий; от того страха можно было избавиться и даже позабыть про него, от этого же, чувствовала, никуда не денешься. И все же успокоение приходило, приходило, когда Бальжийпин опускал глаза или же оказывался на мужской половине юрты и начинал что-то делать, чаще всего он брал в руки книгу и надолго задумывался. Старуха, успокоенная, силилась вызвать в душе привычный для нее страх, не знала, зачем так делает, а все ж делала и, когда это удавалось, мысленно говорила: «За что же вы преследуете меня? Или вам мало того, что вы лишили возраста Баярто? Ну так возьмите меня. Я не боюсь...» Она говорила с незнакомыми людьми голосом спокойным и мягким, и это не нравилось им, хотели бы увидеть в ее глазах смятение и муку, помнится, то же самое они хотели бы увидеть в лице Баярто, когда разжигали огонь под деревом, а не обнаружив этого, злились и кричали... Еще тогда она поняла, что главное для людей в желтых халатах не лишить человека возраста, а лишить памяти. Нет, она не доставит им этого удовольствия, ее страх перед ними тихий и неприметный, про него только она и знает.

Люди в желтых халатах не однажды встречались на ее пути, требовали, чтобы покори-лась, пошла в улус и сказала, что Баярто был плохой человек и за это его лишили возраста. Понимала, что, если бы согласилась, ее жизнь сделалась бы легче и спокойнее, но не умела и не хотела переступить через себя.

Старуха сидела и слушала, вся отдаваясь мысли, которая никуда не вела... Она думала о Баярто, а смотрела на Бальжийпина внутренним взором, она научилась пользоваться им уже после смерти Баярто, и оказалось, что это не так сложно, надо лишь сильно захотеть и суметь избавиться от всего лишнего, что, случается, бродит в голове, и сосредоточиться на одном, на том, что в эту минуту волнует больше всего, и тогда откроется дивное, видела какое-то свечение вокруг его облика, и это свечение было пока еще бледным, несильным, еще не поднялось так высоко, едва ль не до самого неба, как в тот раз, когда он пришел усталый, а потом проспал чуть ли не сутки на мужской половине юрты; и все это время старуха не сомкнула глаз, неподвижно сидела в своем углу и молила добрых духов, чтоб дал силы заснуть... Жила опаска, придуманная ею же самою, в которую, как это теперь нередко случалось с нею, очень скоро поверила, и уже не смогла бы сказать, что было на самом деле, а чего и вовсе не было, и эта опаска дала понять, что ей нельзя заснуть: вдруг прилетят злые духи, и тогда случится неладное, и Баярто уйдет. А этого она боялась пуще всего. Сидела в своем углу и пристально, не мигая смотрела на спящего мужа, тогда и увидела вокруг его головы свечение и возликовала... Поняла, что Баярто, принявший облик белого человека, ниспослан вечным синим небом. Она возликовала и тут увидела, как свечение стало расти, подыматься все выше, выше, и спустя немного она уже не различала человека, а только это свечение, испугалась, что Баярто исчезнет, и – вскрикнула... Белый человек проснулся и долго глядел на нее: видать, не мог сразу вспомнить, где он... Потом лицо у него прояснело, он заговорил о чем-то... Он заговорил, и свечение пропало, старуха огорчилась, но скоро успокоилась, слышала: свечение не пропадает

вовсе, через какое-то время появляется снова над тем человеком, который ниспослан вечным синим небом.

Старуха сделала над собою усилие и перевела глаза на Студенникова, сильно забилося сердце, и вокруг его головы она увидела свечение.

– Я так и знала, так и знала... – прошептала она и хотела подняться с земляного пола, выйти из юрты, но в груди сделалось тесно и дышать больно, силы оставили ее...

Бальжийпин слушал Студенникова, но отчего-то уже не испытывал удовлетворения, словно бы беседа исчерпала себя и не могла дать ничего нового. Однако ж это было не так, он знал, не так... Тогда почему же росло чувство тревоги, и столь стремительно, что минуту спустя Бальжийпин уже мало что понимал из слов Студенникова. С беспокойством поглядел вокруг: вроде бы все на своих местах и все же чего-то не хватало. Вспомнил: старуха во время беседы сидела в углу и смотрела... И он постоянно ощущал ее взгляд, токи, которые идут от нее, и эти токи как-то умиротворяюще действовали на него. Теперь их не стало.

Вскочил на ноги, прошел на женскую половину юрты, старуха лежала на боку, и глаза у нее были закрыты, лицо бледное, почти белое.

– Что... с нею? – спросил Мефодий Игнатьевич.

Бальжийпин не ответил, нагнулся над старухой, выпрямился, сказал с облегчением:

– Все нормально. Сердце чуть-чуть устало...

Старуха очнулась и виновато посмотрела на них, что-то сказала негромко. Бальжийпин улыбнулся, дотронулся до ее лица руками:

– Она подумала, что маленько задремала...

Студенников ушел. Бальжийпин остался подле старухи, долго сидел молча, и она глядела на него и тоже молчала. Они ни о чем не говорили, а только размышляли, каждый о своем, но, странное дело, им казалось, что раздумья одного очень близко принимаются другим, и тут не надо слов, получается, можно говорить и глазами, а может, не глазами – сердцем, только надо уметь настроить себя на нужный лад и сильно захотеть, чтобы тебя поняли. А Бальжийпин как раз и чувствовал, что его понимают, и это было приятно. Он вышел из юрты. И скоро очутился на узкой, меж ветвистых деревьев, тропе, замедлил шаг. Глянул вокруг себя и увидел изжелта-серую смолу на стволах деревьев, широкие, с острыми углами, листья папоротника на тонких стеблях и слабый, какой-то дрожащий ручеек света, падающий сверху и такой одинокий в этом тихом таежном нелюдь. Бальжийпин остановился, вытянул вперед руки, норовя подставить ладони под этот ручеек. Долго не удавалось, в какой-то момент потерял надежду ощутить слабое струящееся тепло, однако ж вдруг почувствовал, что в ладонях словно бы сделалось теплее, а потом уж увидел и тот самый ручеек, а увидев, тихонько рассмеялся и лишь теперь почувствовал на лбу легкую испарину и подумал, что ничто не дается даром, даже это...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.